

# СТИВЕН КИНГ

The background of the cover is a dark, circular opening in a stone wall, looking down into a well. A thick rope is suspended from the top, with a wooden handle visible on the left. The stone blocks are dark and textured, with some light reflecting off their surfaces. The overall atmosphere is mysterious and dark.

Долорес  
Клейборн

## Annotation

Убийцы не монстры и не жуткие выродки. Они живут среди нас, кажутся обычными людьми, и ничто в них до поры до времени не предвещает грядущего кошмара. Почему же внезапно убийца преступает важнейший нравственный закон человеческого бытия? «Психология убийства» – тема захватывающего романа Стивена Кинга «Долорес Клейборн».

---

- [Стивен Кинг](#)
    - 
    - [Альбом для вырезок](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
-

# Стивен Кинг

## Долорес Клейборн

*Моей матери  
Рут Пиллзбури Кинг*

*«Чего хочет женщина?»*

*Зигмунд Фрейд*

*«У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е,  
поймите, что это значит для меня».*

*Арета Франклин*

Чего ты спрашиваешь, Энди Биссет? Поняла я права эти, как ты их мне отбарабанил? Господи! И что это мужчины все такие безмозглые? Нет, это ты помолчи! Хватит языком молоть, а лучше меня послушай. И думается, будешь ты меня слушать за полночь, так что сразу попривыкни. Да все я поняла, права эти, все, что ты мне прочитал! Или, по-твоему, я с ума спятила, как поговорила с тобой в супермаркете? Днем в понедельник, если у тебя из головы вон. Я тебе еще сказала, что жена скажет тебе пару теплых слов, что ты вчерашний хлеб купил: цент сэкономил – на доллар прогорел, как говорится. Я как в воду смотрела, а?

Права свои я еще как понимаю. Энди! Моя мать дураков и дур не растила, слава тебе Господи. И обязанности свои я тоже понимаю, Бог мне свидетель.

Говоришь, все, что я ни скажу, может быть использовано против меня на суде, так? Ну, чудесам несть числа! А ты брось зубы скалить. Фрэнк Пролкс! Может, ты теперь и самый что ни на есть полицейский, да я-то помню, как ты без штанов бегал и ухмылка у тебя была вот такая же глупая. Послушай моего совета и улыбочки свои на старух вроде меня не трать. Мне тебя прочесть проще, чем рекламу белья в каталоге Сирса.

Ну ладно, повеселились и будет, пора и к делу. Я вам троим много чего понараскажу, и, может, половина пригодится против меня в суде использовать, если кому захочется такое старье ворошить. Смех, да и только! Ведь на острове давно добрую половину знают, а то и больше, и

мне взять да наложить, как старик Нили Робишо говаривал, наклюкавшись, а он редко когда просыхал, это вам всякий скажет, кто его знал.

А вот на одно мне не наложить, потому-то я и пришла сюда сама, никто меня за ворот не тащил. Стерву эту, Веру Donovan, я не убивала, и вы у меня поверите, что бы вы сейчас ни думали. С дерьмовой этой лестницы я ее не сталкивала. Решите засадить меня за то, другое, так сажайте, а только этой стервы крови у меня на руках нет. И думается, ты даже сомневаться не станешь, когда я договорю, Энди. Ты всегда был мальчик неплохой – для мальчика. Хотел, чтоб все было по-честному, вот я про что, и вырос приличным мужчиной. Только не очень-то задавайся: вырос ты, как всякий мужчина, которому какая-нибудь женщина стирает, да нос вытирает, да поворачивает, куда надо, чуть ты с пути собьешься.

Еще одно, а уж потом начнем. Тебя, Энди, я знаю, ну и Фрэнка, само собой, а вот кто эта женщина с диктофоном?

Господи, Энди! Да знаю я, что она стенографистка! Я же тебе сказала, что моя мама дур не растила, верно? Может, мне в ноябре и стукнет шестьдесят шесть, но голова у меня в порядке. Если женщина сидит с диктофоном и блокнотом, значит, она стенографистка, а кто же? Я ведь все судебные программы смотрю, даже «Закон Лос-Анджелеса», хоть там никто одетым дольше пятнадцати минут не остается. Как тебя зовут-то, деточка? А-а! И откуда ты?

Уймись, Энди! Какие у тебя еще дела нынче вечером? Собирался на пляж ловить тех, кто ракушки собирает без разрешения? Только, глядишь, сердце-то у тебя таких волнений и не выдержит, а? То-то!

Ну вот! Так-то лучше. Ты, значит, Нэнси Баннистер из Кеннебанка, а я Долорес Клейборн, здешняя, так на острове Литл-Толл и живу. Ну я же сказала, что наговорю с три короба, и сама увидишь, что так оно и будет. Так если захочешь, чтоб я погромче говорила или там повторила что, так сразу скажи, не стесняйся. Я хочу, чтобы ты записала каждое мое слово. И для начала, что двадцать девять лет назад, когда вот этот самый начальник полиции Биссет в первый класс ходил и клей с картинок слизывал, я убила моего мужа, Джо Сент-Джорджа.

Что-то тут засквозило, Энди. Смотри, я уйду, если ты не закроешь свою дурацкую пасть. И чего ты глаза выпучил? Ты же знаешь, что я убила Джо. На Литл-Толле это все знают, да и в Джонспорте за проливом тоже, думается, каждый второй знает. Только вот доказать никто не может. И я бы и не призналась сейчас в присутствии Фрэнка Пролкса и Нэнси Баннистер из Кеннебанка, если бы эта дура старая, стерва Вера, не взялась опять за подлые свои штучки.

Ну да больше-то ей не пакостить, а? Одно утешение.

Придвинь-ка диктофон поближе ко мне, Нэнси, лапонька. Если уж записывать, так уж наилучшим образом, верно? До чего махонькая машинка, а? Чего только эти японцы не навывдумывали! Да уж... но, думается, мы обе знаем, что того, что на пленке внутри твоей пампушечки останется, хватит, чтобы засадить меня в женское исправительное заведение до конца моей жизни. Да только выбора у меня нет. Перед Богом клянусь, я всегда знала, что Вера Донован – моя погибель. Как в первый раз ее увидела, так и поняла. И вот посмотри, что она сделала, что эта чертова старая стерва сделала со мной! Уж теперь она точно сунула мне палку в колеса. Все они такие, богачи: не могут запинать тебя до смерти, так задушат до смерти своей добротой.

– Что?

Да ну тебя, Энди! Я бы давно до дела добралась, не дергай ты меня каждую секунду. Просто я еще не решила, рассказывать от конца к началу или от начала к концу. А выпить у вас чуточку не найдется?

Да иди ты со своим кофе! И кофейник убери куда подальше. Дай простой воды, если уж жалко тебе отлить глоточек из бутылки вон в том ящике. Не такая уж я...

То есть как откуда я знаю? Энди Биссет, можно подумать, ты только вчера из люльки выполз! По-твоему, у людей на острове только и разговору, как я своего мужа убила? Черт, новость-то старенька! А вот ты... сочности в тебе пока хватает.

Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был неплохим мальчиком, хотя в церкви на тебя и было страшно смотреть, пока мать не отучила тебя за козюлями охотиться. Господи, бывало, весь палец в ноздрю засунешь – просто чудо, что ты у себя все мозги не повыковырял. Да краснеть-то чего? Еще не родился ребенок, который не добывал бы чуток зеленого золота из своего старого насоса, хоть и с передышкой. Ну а у тебя хватало ума держать руки подальше от штанов и своих шариков хотя бы в церкви, а есть мальчишки, которых...

Да, Энди, да! Я все расскажу. Да что у тебя в брюках – муравьи?

Вот что: начну-ка я не с конца и не с начала, а с середины и пойду в обе стороны. А если тебе, Энди Биссет, это не нравится, запиши в список своих грехов и отправь священнику.

У нас с Джо было трое детей, и, когда он помер летом шестьдесят третьего, Селене сравнялось пятнадцать, Джо Младшему – тринадцать, а Малышу Питу – всего девять. Ну, Джо не оставил мне даже горшка поссать да и окошка, чтобы было куда выплескивать...

Наверное, Нэнси, тебе придется чуток почистить, а? Я же просто старуха с поганым нравом, а языком еще поганей, но только если жизнь у тебя поганая, так чего и ждать-то, а?

О чем бишь я? Совсем сбилась...

А-а! Спасибо тебе, деточка.

Оставил мне Джо лачужку у Восточного мыса да шесть акров земли сплошь в ежевике и всякой дряни, которая вырастает на расчистке. Что еще? Дай-ка подумать? Три машины, которые не заводились, – два пикапа и грузовичок под древесину, – да четыре поленницы дров, да счет от бакалейщика, да счет из скобяной лавки, да счет от нефтяной компании, да счет от гробовщика... А хочешь еще подарочек? Он и недели в земле не пролежал, как является пьянчуга Гарри Дусетт с дерьмовой бумаженцией – Джо ему двадцать долларов проиграл в споре о бейсболе!

Вот что он мне оставил. А думаешь, еще и деньги по страховке? Черта с два! Хоть, может, оно и к лучшему обернулось. Ну, до этого я, может, потом доберусь, а сейчас я одно хочу сказать: Джо Сент-Джордж и не человек был вовсе, а чертов камень у меня на шее. Да только хуже: камни-то не напиваются и не заявляются, смердя пивом, в час ночи и сразу в постель – ублажай его! Убила-то я сукина сына не по этим причинам, ну да начать с чего-то надо же!

Остров, конечно, не место, чтобы убивать кого-то, можете мне поверить. Обязательно кто-нибудь рядом болтается, чтоб сунуть нос в твои дела, когда тебе это совсем уже не нужно. Вот почему я убила, когда убила, и об этом тоже в свой черед скажу. Ну а пока довольно будет, что сделала я это почти точно через три года после того, как муж Веры Донован погиб в автокатастрофе под Балтимором – они там жили, а на Литл-Толле только лето проводили. В те дни мозги у Веры еще набекрень не съехали.

Значит, нет больше Джо и денег нет – вот и делай что хочешь. Я вам одно скажу: во всем мире хуже быть не может, чем остаться одной с тремя детьми на руках. Хоть на стенку от отчаяния лезь! Я уж было решила поискать работу за проливом в Джонспорте – ну там покупки в самообслуживании проверять или официанткой в ресторане, как вдруг эта дурица решила жить на острове круглый год. Все решили, что она чокнулась, а я и не удивилась вовсе: она ведь и так уж тут подолгу жила.

Парень, который у нее тогда работал... Имя я запомнила, но ты, Энди, знаешь, о ком я: ну, красавчик – он еще штаны носил такие тесные, чтобы весь мир видел, яйца у него с банку из-под варенья... Ну так он заявился ко мне и сказал, что хозяйка (он ее так всегда называл – хозяйка, дурак безмозглый) хочет знать, не соглашусь ли я работать у нее экономкой

постоянно. Ну я с пятидесятого года летом их обслуживала, так к кому же ей и было обратиться в первую очередь? Только тогда это было ну прямо ответом на мои молитвы. Я сразу согласилась и проработала у нее до самого вчерашнего дня, когда она слетела со ступенек прямо на свою глупую пустую башку.

Чем ее муж-то занимался, Энди? Самолеты строил?

А-а! Наверное, я слыхала, но ты же знаешь, как люди на острове болтают о чем ни попадя. Точно я знаю одно: денег у них хватало, очень даже хватало, и все они ей достались после его смерти. Кроме того, конечно, что правительство отхватило, да только очень сомневаюсь, что оно хотя бы половину получило того, что ему причиталось. Майкл Донован умел соображать. И был очень хитрым. Конечно, никто, кому ее доводилось видеть последние десять лет, не поверит, что Вера в хитрости ему не уступала... И хитрые дни у нее бывали до самой смерти. Я все думаю, знала ли она, какую мне пакость устроит, если не умрет мирненько в своей постели от сердечного приступа, а какой-нибудь другой смертью? Я чуть не весь день просидела на ступеньках у Восточного мыса и все думала об этом... об этом и еще о всяком разном. Сначала решу: нет, у миски с овсянкой под конец больше мозгов было, чем у Веры Донован, а потом вспомню, как она с пылесосом... и уже думаю: а вдруг? Ну а вдруг?

Теперь-то не важно. Теперь важно, что я угодила из огня да в полымя, и очень бы мне хотелось поменьше задницу опалить. Если не поздно хватилась.

Начала я у Веры Донован экономкой, а кончила «платной компаньонкой», как они говорят. Разницу-то я скоро сообразила. Экономкой у Веры я ела дерьмо по восемь часов в день пять дней в неделю. А платной ее компаньонкой я его ела круглые сутки без выходных.

Первый удар ее хватил в шестьдесят восьмом году, когда она смотрела по телевизору съезд демократов в Чикаго. Он был совсем легкий, и она винила за него Губерта Хамфри. «Посмотрела лишний раз на эту сияющую жопу, – говорила она, – и у меня лопнул сосуд в мозгу. Могла бы сообразить, что этим кончится. Ну да с тем же успехом это мог оказаться Никсон!»

В семьдесят пятом удар был потяжелее, и свалить его на какого-нибудь политика она не могла. Доктор Френо ее предупреждал, что ни курить, ни пить ей нельзя, но мог бы и не трудиться – разве станет такая заносчивая киска, как Вера-Целуй-Меня-В-Задницу Донован, слушать старого простого деревенского доктора вроде Чипа Френо? «Я еще его похороню! – говорила она. – И выпью виски с содовой у него на могильной плите».

Ну, и некоторое время казалось, что выйдет по ее – он ей выговаривал, а она, знай себе, плавала, что твоя «Куин Мэри». Ну а в восемьдесят первом ее стукнуло уже крепко, а в следующем году красавчик расшибся в машине на материке. Вот тогда я и поселилась у нее – в октябре восемьдесят второго года.

Обязательно это было? Не знаю. Да нет, пожалуй. Пенсию по страсти, как старушка Хэтти Мак-Леод выражалась, я получала. Не то чтоб много, но дети давно уже со мной не жили – а Малыш Пит так и вовсе долго жить приказал, бедный заблудший ягненок, и кое-что я на черный день отложила. Жить на острове всегда дешевле, и, хотя теперь цены не прежние, все-таки они куда ниже, чем на материке. Ну и, значит, жить у Веры было мне не обязательно.

Но мы свыклись друг с другом. Мужчине это понять трудно. Нэнси тут с ее блокнотами, ручками и диктофоном, думается, понимает, да говорить ей, верно, не полагается. Так мы привыкли друг к другу, ну как, наверное, привыкают летучие мыши, которые висят рядышком головами вниз в одной пещере, хотя добрыми друзьями их никак не назовешь. Да и перемена большой не была. Только, что я праздничные платья повесила в шкафу, где всегда висела моя рабочая одежда. Ведь с осени восемьдесят второго я там бывала все дни напролет, да и ночи почти все там проводила. Деньжат прибавилось, но не настолько, чтоб я сделала первый взнос за «кадиллак», как говорится. Ха!

Думается, просто, кроме меня, больше некому было. В Нью-Йорке у нее был управляющий по фамилии Гринбуш. Только Гринбуш не собирался жить на Литл-Толле, чтобы слушать, как она вопит из окна спальни, чтобы он простыни зацемил шестью прищепками, а не четырьмя. Да уж он бы не поселился в комнате для гостей, чтобы менять ей пеленочку, вытирать дерьмо с ее жирной старой задницы, пока она твердит, что он крадет пятицентовики из ее чертовой фарфоровой свиньи-копилки, и обещает сгноить его за это в тюрьме. Гринбуш только чеки отрывал, а я подтирала ей задницу и слушала, как она бредит про простыни, и про мусорных кроликов, и про свою чертову фарфоровую свинью.

Ну и что? Я за это ордена не жду, ни даже «Пурпурного сердца». Дерьма я за свою жизнь навтыралась достаточно, а наслушалась так еще больше (я же шестнадцать лет была замужем за Джо Сент-Джорджем, не забывайте), и ничего, здоровой осталась. Думается, не бросила я ее потому, что никого другого у нее не было. Либо я, либо больница. Дети ее не навещали, и вот тут я ее жалела. Конечно, я не ждала, что они вокруг нее будут прыгать, – не думайте, но все-таки не понимала, почему бы им не

забыть про старую ссору, из-за чего бы там они ни разругались, и не приехать на денек-другой, а то и погостить. Стерва она была жуткая, что так, то так. Но им-то она была мать! Ну и состарилась... Конечно, теперь я побольше знаю, чем тогда, и все-таки...

– Что?

Ну да, это чистая правда. Если я вру, так пусть сразу умру, как говорят мои внуки. А не верите мне, так позвоните этому Гринбушу. Думается, едва все выплывет наружу – а уж выплывет наверняка, иначе ведь не бывает, – так бангорская «Дейли ньюс» обязательно напечатает сопливую статейку, как все это раззамечательно. Но вы меня послушайте – ничего тут раззамечательного нет, а один поганый кошмар. Как бы все ни обернулось, а люди тут обязательно скажут, будто я заморочила ей голову, а как она сделала то, что сделала, сразу ее и прикончила. Уж я знаю. И ты, Энди, знаешь. Нет такой силы на земле, да и на небе, чтоб помешать людям верить в самое скверное, если им так приспичит.

Так во всем этом дерьме ни единого слова правды нет. Ни к чему я ее не принуждала, а сделала она то, что сделала, не потому, что так уж меня обожала – она и привязана-то ко мне не была. Ну, может, сделала она это, потому как считала, что в долгу у меня – на свой чокнутый манер она ведь, глядишь, думала, что очень даже в долгу передо мной, только сказать это она бы никогда не сказала. Не по ее такое было бы. Ну, и даже могла она так меня отблагодарить... Нет, не что я ей задницу подтирала, а за то, что была рядом во все ночи, когда провода из углов вылезали, а мусорные кролики лезли из-под кровати.

Ничего, что вам пока непонятно, потом ясно станет. Обещаю, когда вы по домам отправитесь, то все поймете, все!

Стерва из нее по трем причинам вылазила. Знала я женщин, у кого причин таких было и больше, но и трех хватает для сумасшедшей старухи, которая из постели только в кресло-каталку и выбиралась. Для такой и трех причин по горлышко хватает.

Первая причина, когда она с собой ничего поделывать не могла. Ну помните, что я про прищепки говорила – чтоб простыню шестью прищипливать, а четыремя – ни-ни, и думать не смей? Ну так это только один такой пример.

Если ты работала для миссис Веры-Целуй-Меня-В-Задницу Донован, так обязана была помнить, как что положено делать, и ничегошеньки не забывать. Она сразу указывала, чего ей требуется, и, можете мне поверить, так все и делалось. Один раз забудешь, она тебя отругает. Второй раз забудешь, будет с тебя вычет. Ну а в третий раз забудешь, так вылетишь

вон, как там ни оправдывайся. Такое было у Веры правило, и меня оно устраивало. Не очень-то мягкое, но справедливое. Если ты со второго раза не запомнишь, на какие полки ставить выпечку остывать, а на подоконник – ни-ни, не какие-нибудь мы нищие ирландцы, так, значит, не запомнишь никогда.

Три промашки – и ты вылетаешь вон, такое было правило, и никаких тебе исключений. Вот и вышло, что работать мне там пришлось с самыми разными людьми. В старые дни я только и слышала, что пойти работать к Донованам, это как сунуться во вращающуюся дверь. Один оборот сделаешь, два, а кое-кто так и десять умудрится сделать и даже все двенадцать, но в конце концов все равно тебя на тротуар вышвырнет. Ну и когда я пошла к ней в первый раз наниматься (в сорок девятом это было), так будто к дракону в пещеру шла. Только оказалась она все-таки получше, чем ее люди расписывали. Кто умел держать ухо востро, тот надолго оставался. Ну как я или красавчик. Но все время приходилось быть начеку, потому что она всегда все подмечала и про жителей острова знала куда больше остальных летних приезжих... и еще она умела быть ядовитой. Еще тогда, до того, как начались все ее неприятности. Это для нее вроде развлечения было.

– Чего тебе тут надо? – говорит она мне в первый же день. – Тебе бы дома сидеть со своей малышкой и готовить обеды повкусней и пообильней для светоча твоей жизни.

– Миссис Каллем с радостью будет присматривать за Селеной четыре часа в день, – говорю я. – Работать я могу только полдня, мэм.

– А мне больше и не нужно, как, если не ошибаюсь, указано в объявлении, которое я поместила в местной так называемой газете, – отвечает она, показывая свой ядовитый язычок, но не язвя, как потом тысячи раз бывало. Помнится, она тогда с вязанием сидела. А вязала она ну что твоя молния небесная. Пару носков за один день для нее пустяк был, хоть и бралась за спицы не раньше десяти. Только ей для этого требовалось подходящее настроение.

– Да, мэм, – говорю. – Так там и было указано.

– Меня зовут не Дамэм, – говорит она и откладывает вязание, – а Вера Донован. Если я тебя возьму, будешь называть меня миссис Донован – во всяком случае, на первых порах, пока мы не узнаем друг друга поближе, – а я тебя буду называть Долорес. Все понятно?

– Да, миссис Донован, – отвечаю.

– Ну что же, начали мы неплохо. А теперь ответь на мой вопрос, Долорес. Чего тебе тут надо, когда у тебя собственный дом забот требует?

– Хочу подзаработать к Рождеству, – отвечаю. Я еще по дороге решила, как ответить, если она спросит. – А если я вас устрою и, конечно, если мне понравится работать у вас, так, может, я и подольше останусь.

– Если тебе понравится работать у меня! – повторяет она и закатывает глаза, будто ничего глупее в жизни не слышала. Как это вдруг кому-нибудь может не понравиться работать у великой Веры Донован? – Подзаработать к Рождеству, – повторяет она. А потом еще раз совсем уж ядовито: – Подзаработать к Р-ррож-деству-у-у!

Словно догадалась, что пришла-то я потому, что еще свадебный рис толком из волос не вытрясла, а уже у меня в семье не все ладно. И для подтверждения нужно ей только, чтоб я покраснела и опустила глаза. А потому я не покраснела и глаз не опустила, хотя было мне всего двадцать два года и попала она прямо в цель. Только я ни одной живой душе не призналась бы, что да, не все у меня в семье ладно. Клещами бы у меня этого не вырвали. А с Веры и денег к Рождеству хватило, как бы язвительно она за мной ни повторяла. Да я и себе-то не признавалась – просто, мол, в это лето с деньгами на хозяйство туговато. Только через много лет я наконец признала, что пошла в тот день в берлогу к дракону, потому что надо было как-то возмещать деньги, которые Джо пропивал за неделю и проигрывал по пятницам за покером в «Таверне Фаджи» на материке. Тогда я еще верила, будто любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине сильнее любви к выпивке и всяким безобразиям, что любовь эта надо всем поднимется, как сливки в бутылке с молоком. Ну да следующие десять лет меня многому научили. Жизнь-то для некоторых – школа тяжелая, верно?

– Что же, – говорит Вера, – испытаем друг друга, Долорес Сент-Джордж... хотя, если ты и выдержишь, так, конечно, забеременеешь опять, еще года не пройдет, и больше я тебя не увижу.

А я-то уже была на третьем месяце, но и этих слов из меня клещами не выдрали бы. Мне нужны были эти десять долларов в неделю, и я их получила, а вы не думайте: я каждый цент из них еще как отработывала. Все лето с ног валилась от усталости, а как подошла осень, Вера меня спросила, не хочу ли я продолжать и когда они уедут в Балтимор – такой большой дом нужно держать в порядке круглый год. И я ответила – ладно.

И держалась до последнего месяца, пока Джо Младший не родился, а потом опять туда, еще от груди его не отняла. Летом я оставляла его у Арлена Каллума – чтоб Вера позволила у себя в доме младенцу пиццать? Да никогда! Ну а чуть они с мужем уехали, как я начала ходить туда и с ним, и с Селеной. Селену можно было оставлять и одну – она и на третьем годике

редко баловалась. Джо Младшего я брала с собой каждый день. Свои первые шажочки он сделал в парадной спальне, только Вера об этом так никогда и не узнала, уж поверьте мне.

Она позвонила мне через неделю после родов (я сначала не хотела посылать ей объявление о рождении, а потом решила, если она подумает, будто я напрашиваюсь на дорогой подарок, так это ее дело), поздравила с сыном, а потом сказала – думается, она только ради этого и звонила, – что держит мое место для меня. По-моему, думала польстить мне – и польстила. Это ведь высшая похвала, на какую способна женщина вроде Веры, и значила она для меня побольше, чем праздничный чек на двадцать пять долларов, который она мне прислала в том декабре.

Она была кремень, но справедливая и в доме – настоящая хозяйка. Ее муж приезжал раз в десять дней, хоть и считалось, будто они туда на все лето переехали, но и когда приезжал, сразу было видно, кто там главный. Может, двести, а то и все триста его подчиненных сразу штаны спускали, чуть он скажет «срать», но на острове Литл-Толл командовала Вера, и, когда она ему говорила, чтобы он снимал туфли и не следил на ее чистых коврах, он слушался.

Ну, как я уже говорила, у нее все полагалось делать так, а не иначе. Еще как! Где она всех этих правил набралась, я не знаю, зато знаю, они ее точно капкан держали. Чуть что по-другому, и у нее уже голова болит или живот. Она столько времени тратила каждый день, проверяя, а вдруг что-нибудь не так, что, сдавалось мне, ей жилось бы куда спокойней, если бы она плюнула на все и сама бы убиралась.

Все ванны оттирай только «Спик-н-спаном». Ни «Лестойлом», ни «Топ-Джобом», ни «Мистером Клином», а только «Спик-н-спаном». Да поймай она тебя с другим порошком в руке, тут уж несдобровать!

Ну и глажка. Воротнички рубашек и блузки опрыскивай только вот этим раствором крахмала, да не просто, а прежде накрой воротничок особым куском марли. От дерьмовой этой марли толку никакого я не замечала, а я ведь в этом доме перегладила не меньше десяти тысяч рубашек и блузок, но зайди она в гладильню да увидь, что ты гладишь рубашку без этой марли или она с края доски свисает, тогда только держись.

Забудешь включить вытяжной вентилятор, когда жарить что-нибудь на кухне, тоже только держись.

Мусорные бачки в гараже. Всего их было шесть. Раз в неделю приезжал Санни Куист забирать мусор, и экономке – или одной из горничных, кто уж оказывался ближе, – полагалось возвращать бачки в

гараж в ту же минуту, нет, в ту же секунду, как он уезжал. И не просто затащить их в угол и оставить там, а обязательно расставить тремя парами вдоль восточной стены гаража и чтоб крышки лежали сверху перевернутыми. А забудешь и не все так сделаешь, тогда держись!

А дверные коврики с «Добро пожаловать»? Их было три – для парадной двери, для двери в патио и для черного хода, где до прошлого года висела хамская табличка «Для рассыльных», но тут уж она мне до того надоела, что я ее отвинтила. Раз в неделю мне полагалось раскладывать эти коврики на большом камне в конце заднего двора... то есть ярдах в сорока от бассейна, хотела я сказать. Раскладывать и веником выбивать пыль. Да так, чтобы она столбом стояла. А не станешь усердствовать, тут тебя и изловят. Она, правда, не каждый раз следила, но часто. Стоит себе в патио с мужниным биноклем. А главное, когда коврики на место кладешь, «Добро пожаловать» поверни от двери. Так, чтобы люди, подходя к любой двери, могли прочитать надпись. А положишь коврик надписью к двери, ну тогда держись!

И таких вот вещей надо было с полсотни помнить. В прежние-то дни, когда я приходящей горничной начинала, в лавке Вере Донован все косточки перемывали кому не лень. Донованы тогда часто устраивали всякие приемы, и в пятидесятых годах прислуги у них было полно, и обычно больше всех на нее въедалась какая-нибудь девчонка, которую взяли приходящей, а потом выгнали, когда она в третий раз нарушила какое-то правило. И уж она расписывала Веру Донован всем, кто хотел послушать, – старая злыдня и совсем свихнутая вдобавок. Ну, может, она свихнутой была, а может, и не была, но одно я вам скажу: если ты все помнила, то она к тебе не придиралась. Я так считаю: раз уж ты помнишь, кто с кем спит во всех этих сериалах, которые показывают днем, так могла бы не путаться, а ванны оттирать «Спик-н-спаном» и «Добро пожаловать» поворачивать куда следует.

А уж простыни! Уж тут смотри не промахнись. Чтобы висели на веревке точно краешек в краешек и на шести защипках. Четыре – ни-ни-ни! Только шесть. А если проволочишь одну по земле, можешь не дожидаться, чтобы проштрафиться в третий раз! Веревки были натянуты в боковом дворе прямо под окном ее спальни. И она год за годом кричит на меня из этого окна: «Шесть защипок, Долорес, шесть! Слышишь? Шесть, не четыре! Я считаю, а глаза у меня все такие же зоркие!» Уж она...

Что-что, деточка?

Да ну тебя, Энди! Что ты ей рот затыкаешь? Она дело спрашивает. Ни у одного мужчины умишка не достанет спросить про это.

Я тебе отвечу, Нэнси Баннистер из Кеннебанка в Мэне. Да, у нее была сушилка, хорошая, очень большая, но нам запрещалось сушить в ней простыни, разве что пообещают дождь пять дней напролет. «Приличные люди спят только на простынях, которые сушились на воздухе, – вот что Вера любила говорить. – Потому что они чудесно пахнут. Немножко ветром, который их колыхал, – он пропитал их, и этот аромат навевает сладкие сны».

Она любила всякую чушь пороть, а вот насчет запаха свежего воздуха в простынях – нет. Я всегда думала, что вот тут она права была. Да кто угодно почувствует разницу между простыней из сушилки и той, которая под южным ветром сохла. Да только утром зимой – а сколько таких утр было-то! – когда зубы от холода стучат, а ветер сырой и всюду дует с востока, прямо с Атлантики, я бы от этого свежего запаха отказалась бы и глазом не моргнула. Развешивать простыни в холодрыгу – это, скажу я вам, настоящая пытка. Только те поймут, что это такое, кто их сам хоть раз развешивал. И уж этого раза никогда не забудешь.

Тащишь корзину к веревкам, а над ней пар так и курится, и первую простыню берешь совсем теплую, а если ты это впервой, так еще подумашь: «Ну, так еще терпеть можно!» Только, когда первую на веревку закинешь, да края выровняешь, да зацепишь на шесть зацепок, пар-то уже не курится. Мокрая-то она мокрая, а еще теперь и холодная. Пальцы у тебя тоже мокрые и совсем замерзли. А тебе надо вторую вешать, и третью, и четвертую – а пальцы у тебя совсем красные и еле гнутся, а плечи ноют, а губы от зацепок онемели – руки-то надо освободить, чтобы держать эти поганые простыни и выравнивать их. Но хуже всего пальцы. Онемей они, это бы еще ничего, просто даже хочешь, чтоб они ничего не чувствовали. Но они только краснеют, а если простынь много, так они становятся лиловатыми, будто обводка у некоторых лилий. К концу у тебя уже не руки, а просто клешни какие-то. А хуже всего то, что тебя поджидает, когда ты с пустой корзиной в дом вернешься и тепло хлестнет тебя по рукам. Их как иголками колет, а суставы начинают ныть, только это чувство такое особое, в самой глубине, точно дергает что-то или плачет. Я бы тебе объяснила, Энди, да не могу. Вот Нэнси Баннистер так на меня смотрит, будто знает – хоть немножко, да знает. Только одно дело развешивать стирку зимой на материке и совсем другое – на острове. А когда пальцы отогреваются, то в них точно муравьи ползают. Ну и растираешь их лосьоном и ждешь, чтоб они чесаться перестали, а сама знаешь: сколько ни втирай в них покупного лосьона или по старинке бараньего жира, а к исходу февраля кожа на них так потрескается, что лопнет и кровь пойдет, если сжать кулак крепче. А

иногда вроде бы и согреешься и спать ляжешь, а ночью руки тебя разбудят и заплачут от памяти об этой боли. Думаете, я шучу? Смейтесь, если хочется, только мне-то не до шуток. Так и слышишь их, точно малые детки до матери не докличутся. Из самой глубины идет, а ты лежишь и слушаешь, а сама знаешь, что наружу-то все равно опять пойдешь, и конца ему нет. Это все женская работа, а мужчины о ней ничего не знают и знать не хотят.

И вот ты там с корзиной, руки онемели, пальцы совсем лиловые, из носа течет и примерзает к верхней губе, ну прямо клещ какой-то, а она стоит или сидит у окна спальни и глядит на тебя. Лоб наморщит, губы сожмет и пальцы переплетает от напряжения, точно это опасная операция в больнице, а не белье вешают сушить на зимнем ветру. И видишь, как она сдержаться пробует не разевать свою пасть хоть разочек, только куда там! Долго не выдерживает – откроет окно, высунется, а холодный восточный ветер волосы ей треплет. Она смотрит вниз и орет: «Шесть защипок! Не забудь защемить ее шестью защипками. И смотри, чтобы ветер не подметал двора моими простынками! Так что слушай! А то ведь я слежу и я считаю!»

К марту мне все снится, что хватаю я топорик, которым мы с красавчиком рубили растопку для кухонной плиты (ну, пока он не помер, а с тех пор вся работка мне одной досталась, уж такая я счастливица!), и рублю эту стерву громкоголосую прямо между глаз. Иногда я прямо видела, как делаю это, вот до чего она меня доводила! Да только я всегда знала, что в ней что-то ненавидит эти крики из окна не меньше меня.

Вот, значит, первая причина, почему она была стерва – ничего с собой поделывать не могла. Для нее-то это было даже похуже, чем для меня, особенно после серьезных ее ударов. К тому времени стирки развешивать было куда меньше, только она-то была на этом помешана, как и раньше, до того, как почти все комнаты в доме были заперты, постели для гостей почти все убраны, а простыни завернуты в целлофан и уложены в шкаф.

А особенно ей тяжело было, что к восьмьдесят пятому году никого она уже врасплох поймать не могла – без меня ей и с места было не сдвинуться. Если меня не было, чтобы ее с кровати поднять да в кресло-каталку усадить, так она в кровати и лежала. Очень уж разжирела, понимаете? Со ста тридцати фунтов в начале шестидесятых потяжелела до ста девяноста – и все желтоватый такой дряблый жир, какой у стариков бывает. Свисал у нее с рук, с ног и с задницы, точно тесто со скалки. Есть люди, которые на закате лет совсем тощат, но только не Вера Донован. Доктор Френо объяснял, что у нее почки со своим делом не справляются, отсюда и жир. Может, оно так, да только мне сто раз на дню казалось, что вес этот она

набрала назло мне.

Ну вес весом, а еще она совсем ослепла. Все из-за ударов. А то зрение, какое ей осталось, то совсем пропадало, то возвращалось. Бывали дни, когда она чуточку видела левым глазом, а правым так и совсем хорошо, но чаще она говорила, что смотрит будто через толстую серую занавеску. Думается, вы понимаете, почему она от этого прямо с ума сходила – она же всегда за всем приглядывать любила. Она из-за этого даже плакала, а уж, поверьте, такая твердокаменная так просто не заплачет.

Чего-чего, Фрэнк?

В маразме она была?

Твердо не скажу. Святая правда. Но не думаю. А если и да, так по-другому, чем это у стариков бывает. И говорю я так не потому, что судья, утверждающий ее завещание, сморкнется в него, чуть объявят, будто она под конец ума лишилась. Да по мне пусть он им подотрется, лишь бы мне выбраться из чертовой ловушки, которую она мне устроила. И все ж таки скажу, что на чердаке у нее не вовсе пусто было, даже и в последний день. Хоть и не по всем углам, но кое-что там имелось.

Я почему так говорю? Выпадали дни, когда она и вовсе почти прежней становилась. В те обычно, когда она и видела чуть получше, и подсобляла, когда я ее на постели сажала, а то даже сама два шажочка до кресла делала, не ждала, чтоб ее на него перекинули, как куль с мукой. Я ее в кресло сажала, чтобы постель перестелить, а она и рада добраться до своего окна, откуда боковой дворик виден, а дальше порт. Как она мне сказала, что совсем рехнулась бы, лежи день и ночь напролет в кровати и гляди только на потолок да стены. Это уж так.

Бывали у нее и смутные дни, когда она меня не узнавала да и себя не помнила. Будто лодка она была в такие дни, которую оторвало от причала и унесло в океан. Только ее-то океаном было время – утром думает, что сейчас сорок седьмой год, а днем – семьдесят четвертый. Но ясные дни у нее тоже бывали. Все меньше да меньше, как время шло, и у нее опять да опять легенькие ударчики случались, а все-таки бывали. Только ее хорошие дни частенько оборачивались моими плохими, потому как она сразу за прежнее бралась, только дай ей волю.

Всякие пакости строила. Это во-вторых, почему она стервой была. Когда ей взбрело, пакостила она хуже всякой кошки бездомной. Даже целыми днями в постели лежа в резиновых штанах, с пеленочкой в них, она всю душу вымотать умела. Уж как она пакостила в дни уборки! Вот вам пример. Ну не то чтоб каждую неделю, но, черт подери, я вам прямо скажу, что не может быть совпадением, что пакостила она все больше по

четвергам.

У Донованов большая уборка проводилась по четвергам. Дом-то большой – вы и понятия не имеете, до чего большой, пока внутри не заблудитесь, – но почти все комнаты теперь заперты. Те дни, когда полдюжины девушек, завязав волосы косынкой, стирали пыль здесь, мыли окна там и сметали паутину в углах потолка еще где-нибудь, кончились лет двадцать назад. И когда я проходила по этим мрачным комнатам, глядела на укутанную чехлами мебель, то вспоминала, как они выглядели в пятидесятых, когда летом съезжались гости, – и снаружи над газоном всегда разноцветные японские фонарики, уж их-то я не забуду! – и по коже у меня мурашки бегали. К концу яркие цвета из жизни уходят – вы замечали? В конце все выглядит серым, будто застиранное платье.

Последние четыре года открыты в доме были только кухня, большая гостиная, столовая, солярий, который выходит на бассейн и патио, да четыре спальни наверху – ее, моя и две гостевые. Зимой гостевые почти не отапливались, но содержались в порядке – а вдруг ее детки решат все-таки навеститься к ней.

И даже в последние годы в дни уборки мне всегда помогали две девушки из города. Они все время менялись, но с девяностого это были Шона Уиндхем и Сьюзи, сестра Фрэнка. Без них я бы не справилась, хотя еще много чего сама делаю; к четырем часам, когда по четвергам девушки отправлялись домой, я с ног валилась. А работы оставалось еще порядком – догладить, написать список, чего купить в пятницу, и, само собой, ужин для госпожи приготовить. Нет покоя грешным, как говорится.

Да только прежде, чем за эти дела приниматься, погляди, что она успела напакостить.

Почти всегда свои дела она делала аккуратно. Я под нее судно подкладывала каждые три часа, и она для меня дзинь-дзинь-дзинь по хорошему. И почти всегда после полудня в судне еще и котятка оказывалась.

То есть только не по четвергам.

А по четвергам – по тем, когда у нее в голове прояснялось, – я уж знала, что без неприятностей мне не обойтись – и без ломоты в спине до полуночи. Под конец даже анасин-три совсем перестал помогать. Я всю жизнь почти была здоровой, как ломовая лошадь, да и сейчас тоже, но шестьдесят пять – это шестьдесят пять. Хватка уже не та.

По четвергам в шесть утра судно я вынимала так, чуть обрызнутое – это вместо половины-то, как обычно! И в девять то же самое. А в полдень вместо мочи и еще котятки вообще пусто. И тут мне ясно становилось, что

для меня готовится. А уж совсем точно я знала, если и в среду в полдень она ничего в судно не накладывала.

Вижу, вижу, Энди, тебя смех разбирает, так ты не крепишься зря, а смейся, если тебе приспичило. Тогда-то мне не до смеха было, а теперь все позади, и то, что ты думаешь, – чистая правда. Подлюга старая говно свое будто в сберегательном банке держала и потом на неделе вроде бы забирала проценты... только разделываться-то с ними мне приходилось, хотела я того или нет.

С полудня в четверг я только и делала, что бегала вверх, стараясь ее поймать вовремя, и иногда даже успевала. Да только глаза глазами, зато уши у нее были в полном порядке, и она знала, что пылесосить ковер в гостиной я городским девочкам никогда не доверю. И чуть заслышит, как там пылесос заработал, поднатужится, ну и начинает этот ее говновый вклад приносить проценты.

Потом я придумала способ, как ее подлавливать. Заору девочкам, что берусь за гостиную, – заору, даже если они в столовой рядом, и даже пылесос включу, а сама шасть к лестнице, одной ногой встану на нижнюю ступеньку, а другой за столбик перил держусь, будто бегунья на дорожке, которая вся подобралась и только выстрела стартера ждет.

Ну раза два я взбегала рановато. Без толку. Точно тебя за фальстарт с забега сняли. Попасть туда требовалось после того, как она запустит свой мотор, но прежде, чем успеет дернуть за рычаг и вывалить груз в свои резиновые штанищи. Ну да я наловчилась. Да и вы бы постарались, знай вы, что придется вам ворочать старуху в сто девяносто фунтов весом, если опоздаете. Словно с ручной гранатой возишься, только заряженной говном, а не взрывчаткой.

Влечу в спальню, а она лежит на своей больничной кровати, лицо все красное, губы перекошены, локтями в матрас упирается, кулаки сжимает и кряхтит: «Аннх! Анннннххх! АНННН-ННННННХХХ!» И вот что я вам скажу: повесить бы к потолку пару мушиных липучек, а ей на колени положить бы каталог Сирса – и все чин чинарем.

Нэнси, да брось ты губы кусать – лучше, как говорится, выпустить да стыд терпеть, чем крепиться и терпеть боль. Да и вообще-то тут своя смешная сторона есть – у говна как не быть? Спроси у любого мальчишки. Мне и самой-то сейчас смешно, когда все уже позади, а это что-то да значит, верно? Во что бы я сейчас ни вляпалась, а с говенными четвергами Веры Донован мне больше не мучиться.

Она услышит мои шаги и прямо взбесится. Ну будто медведь, у которого лапа в дупле с медом застряла. «Что ты здесь делаешь? –

спрашивает чванным голосом – он у нее всегда чванным делался, чуть изловишь ее на какой-нибудь чертовщине. Будто все еще учится в Вассаре или каком еще зазнайном колледже, куда ее родители отдали. – Сегодня день уборки, Долорес! И занимайся своим делом! Я не звонила, и ты мне не требуешься!»

Ну да меня не запугаешь.

«Очень даже требуюсь, – говорю. – Ваша-то задница испускает не «Шанель номер пять», а?»

Иной раз она старалась меня по рукам бить, когда я одеяло и простыню отгребала. А сама уставится на меня, будто в камень превратит, если я сейчас же не уйду, а нижнюю губу выпятит – точь-в-точь малыш, которому в школу идти неохота. Ну да меня этим не проберешь – Долорес, дочку Патрисии Клейборн. Простыню сдеру, за три секунды спущу с нее штаны и развяжу завязки пеленочки у ней между ног, хлопает она меня по рукам или нет. Обычно-то она тут же переставала, потому как попалась, и мы обе это знали. А машина-то ее была такой дряхлой, что, раз стронувшись с места, уже остановиться не могла. Аккуратненько подложу под нее судно, а когда ухожу, чтоб и вправду за гостиную взяться, она ругается, как матрос в порту, – и ни про какой Вассар уже и намека нет, можете мне поверить. Потому что знает, что проиграла, уж поверьте мне, а проигрывать Вера никогда не терпела. Даже вот совсем в детство впала, а чтоб в дурах остаться – ни-ни.

Вот так дело и шло, и я уж решила, что выиграла войну, а не две-три битвы. Да только поторопилась.

Ну, подошел день уборки – полтора года назад это было, – и я готовлюсь бежать наверх и опять ее изловить. Я даже вроде бы во вкус вошла: все-таки возмещение за все разы, когда верх за ней оставался. А я высчитала, что надо говенного торнадо ждать, не иначе, если по ее выйдет. Все признаки налицо были и с лихвой. Во-первых, у нее не просто ясный день выпал, а целая ясная неделя – в понедельник она даже попросила, чтоб я ей на ручки кресла доску положила – пасьянс «Большие часы» раскладывать, прямо как раньше. А вот с отправлениями у нее большая засуха вышла: с воскресенья ничего в кружку для пожертвований не опустила. Вот и я рассчитала, что в этот четверг она задумала выложить мне не только весь свой вклад, а еще и рождественские премиальные.

Ну вытащила я из-под нее судно в этот четверг в полдень, а там сухо, ну я ей и говорю:

– Вера, а может, поднатужитесь чуток, а?

– Ах, Долорес, – говорит и глядит на меня своими мутно-голубыми

глазами, ну прямо ангельчик с елки. – Я уже тужилась, как могла. Так сильно, что больно стало. Наверное, меня заперло.

И я с ней согласилась!

– Да, видно так, и, если вас скоро не прочистить, придется скормить вам всю коробочку слабительного, чтоб вышибить пробку.

– Полагаю, все само образуется, – говорит и улыбается мне. У нее зубов-то к тому времени не осталось вовсе, а нижнюю челюсть вставлять ей можно было только, пока она сидела – лежа-то она могла закашляться, втянуть челюсть в глотку да и подавиться насмерть. Ну и лицо у нее, когда она улыбалась, было точно корявое полено с дыркой от сучка. – Ты меня знаешь, Долорес, я не люблю торопить природу.

– Да уж, я тебя знаю, – бурчу и повернулась, чтоб уйти.

– Что ты сказала, милочка? – спрашивает она так сладко, что хоть сахар в чай не клади.

– Сказала, что не могу торчать здесь весь день, дожидаться, пока вы свое не сделаете, – говорю. – Меня работа ждет. Сегодня же уборка, сами знаете.

– Ах, неужели? – говорит, будто с самой же первой секунды, как проснулась, не помнила, что нынче четверг. – Ну так ты иди, иди, Долорес. Если мне будет нужно судно, я тебя позову.

Позовешь, как же! – думаю я. Через пять минут, как наложишь! Но я этого не сказала, а ушла вниз.

Достала пылесос из кухонного шкафа, унесла его в гостиную, воткнула вилку. Но включать сразу не стала, а несколько минут тряпкой протирала. Я уже до того наострилась, что нужное время само собой угадывала, и ждала, когда что-то мне шепнет, мол, пора.

А чуть шепнуло, я завопила Сьюзи и Шон, что начинаю пылесосить гостиную, да так громко, что меня небось полпоселка слышало вместе с вдовствующей королевой наверху. Я включила «керби» и побежала к лестнице. Долго тянуть не стала – тридцать, ну сорок секунд, потому как рассчитала, что в этот день она на ниточке висит. Ну и помчалась наверх – через две ступеньки, и что бы вы думали?

А ни-че-го!

Ни-че-го-шень-ки!

Кроме...

Кроме того, как она на меня поглядывала. Спокойненько, сладенько так.

– Ты что-нибудь забыла, Долорес? – Ну просто воркует!

– Ага, – отвечаю. – Забыла бросить эту работу пять лет назад.

Прекратите, Вера, а?

– Но что прекратить, милочка? – спрашивает и ресницами машет, будто понятия не имеет, о чем я.

– Хватит увиливать, вот я о чем. Говорите прямо – нужно вам судно или нет?

– Не нужно, – отвечает самым честным своим голосом. – Я же тебе уже сказала! – И улыбается мне. Ничего больше не сказала, да и зачем. Лицо ее сказало все, что требовалось. «Ага, Долорес, попалась! – говорило оно. – Никуда ты не денешься!»

Но она рано радовалась. Я же знала, сколько добра она в себе поднакопила, и знала, каково мне придется, если она успеет начать, прежде чем я под нее судно подсуну. Ну я спустилась, постояла возле пылесоса, а через пять минут – опять наверх. Только на этот раз она мне не улыбнулась. На этот раз она лежала на боку и дрыхла... то есть так мне подумалось. Нет, правда. Она меня ловко провела, а вы знаете присловье: ты меня раз провела – тебе стыдно, ты меня два раза провела – мне стыдно.

Когда я во второй раз спустилась, то по-настоящему пропылесосила гостиную. Потом убрала «керби» и пошла проверить ее. А она сидит на кровати, сна ни в одном глазу, одеяло отброшено, резиновые штаны спущены до толстых ее дряхлых колен, а пеленочка развязана. Навалила? Да Господи, постель полна говна, она вся в говне, говно на полу, на кресле, на стенах. Даже на занавесках. Не иначе как она его горстями черпала и швыряла, ну как ребяташки илом швыряются, когда в пруду плещутся.

Ну я взбесилась! Просто плевать хотелось.

– Ну Вера! – кричу. – Стерва ты поганая!

Не убивала я ее, Энди, не то бы в тот день ее бы и прикончила, как увидела все это говно и подышала вонью-то! Так бы ее и убила! А она уставилась на меня рыбьим своим взглядом, какой у нее появлялся, когда ум за разум заходил... но я-то видела, что в них чертенята так и прыгают, и уж тут ясно было, кто над кем на этот раз верх взял. Два раза меня провела – мне стыдно.

– Кто это? – бормочет. – Бренда, это ты, милочка? Опять коровы разбрелись?

– Сами знаете, что коров здесь с пятьдесят пятого ближе трех миль не бывало! – воплю, а сама в комнату так и ринулась. И зря – одной туфлей вляпалась и чуть спиной не приложилась. Ну уж тогда, думается, я бы ее и вправду прикончила, не сдержалась бы. В ту минуту я готова была сеять огонь и пожинать серу.

– Яааааа... – тянет, точно безмозглая карга, какой она в другие дни

бывала. – Яаааа... ничего не вижу, и желудок у меня совсем расстроился. Кажется, мне надо кака... Это ты, Долорес?

– Конечно, я, а кто ж? У, сова старая, – кричу. – Так бы тебя и убила!

Думается, Сьюзи Пролкс и Шона Уиндхем уже внизу лестницы слышали, и, думается, ты уже с ними поговорил и они уже на меня петельку накинули. Ты не отвечай, Энди. Лицо у тебя само все говорит.

Вера видит, что меня не провела... то есть на этот раз, и бросила притворяться, будто на нее затмение нашло, и сама взбесилась, чтоб себя отстоять. Может, я ее чуток и напугала. Теперь-то помнится, я и сама напугалась... но, Энди, видел бы ты эту спальню! Точно обеденный час в аду.

– С тебя станется, – кричит она в ответ. – Ты и вправду убьешь, образина ты эдакая, ведьма старая! Убьешь меня, как своего муженька убила!

– Нет, мэм, – говорю. – И не так вовсе. Когда решу вам пасть заткнуть, так я не стану время тратить несчастный случай изображать. А выкину тебя из окошка – и дело с концом, будет в мире одной вонючей стервой меньше.

Ухватила ее поперек живота и как подниму, будто богатырша какая-то. А ночью мне спину так заломило, скажу я вам, что утром я еле ходила, до того было больно. Я добралась в Макьяс к массажисту, и он что-то там нажал, так что мне легче стало, но с того дня по-настоящему здоровой я себя уже не чувствовала. А вот в ту минуту я ничего даже не заметила. Сволокла ее с кровати, будто она тряпичная кукла, а я девчушка, которой задали трепку, вот она и отводит душу. Тут ее затрясло, а я, как поняла, что она и правда перепугалась, сумела с собой совладать, но не буду врать: от ее страха мне прямо весело стало.

– Ууууууу! – вопит. – Ууууууу! Не тащи-и-и-и меня к окну! И думать не смей меня выкидывать, говорят тебе! Отпусти меня! Долорес, мне бооооольно, ууууууу! Отпусти-и-и-и...

– Прикуси язык-то! – говорю и плюхаю ее в кресло так, что у нее зубы залязгали бы, будь чему лязгать. – Лучше погляди, какую ты пакость развела! И не болтай, будто ничего видеть не можешь. Очень даже можешь! Ну и гляди!

– Мне очень жаль, Долорес, – говорит. И захныкала. Да я-то вижу, в глазах у нее огонек такой подленький пляшет. Вот как рыбки в прозрачной воде, когда встанешь в лодке на колени да через борт на них и смотришь.

– Мне очень жаль, я не хотела пакостить, только помочь хотела.

Она всегда так говорила, чуть обложится да вымажется... Ну да художествами такими она в первый раз занялась. «Я только помочь хотела,

Долорес!» Господи Иисусе!

– Сиди и помалкивай! – ору. – Если вправду не хочешь быстренько прокатиться до окна и еще побыстрее слететь на альпийскую горку, так делай, как тебе говорят.

А эти девки у лестницы, конечно, каждое наше слово слышали. Но меня такое тогда зло взяло, что я и думать про них забыла.

Ну ума заткнуться у нее достало, но сидит довольная-предовольная. А чего? Устроила, что хотела, и победительницей из битвы вышла она – показала ясно, как солнышко на рассвете, что война-то и не кончилась вовсе. Куда там! Ну, взялась я за работу – чистила, порядок наводила. Битых два часа провозилась, и под конец спина у меня всю «Аве Мария» распевала.

Про простыни я вам рассказала, каково это было, и по глазам видела, что кое-что вы поняли. А вот пакости ее понять труднее. То есть говно-то еще ладно. Я его всю жизнь вытирала, и ничего. Богу душу не отдала. Благоухает, конечно, не розами, и с ним поаккуратней надо, потому как оно заразное бывает – что там сопли, мокрота или кровь из пореза, да только оно смывается, понимаете? Кто с младенцами дело имел, тот знает: говно смывается. И главная пакость вовсе-то не в нем была.

А в ейной подлости. Все-то по-хитрому, исподтишка. Выждала, улучила случай и наложила, сколько сумела. А как торопилась-то! Знала, что много времени я ей не дам. Она эту гадость нарочно устроила, понимаете? Все заранее обдумала, насколько затуманенные мозги позволили, – вот отчего у меня сердце заходило и в глазах чернело, пока я за ней убирала. Пока с кровати все стаскивала, пока загаженный чехол с матраса, и простыни загаженные, и загаженные наволочки в прачечную сбрасывала; пока пол оттирала, и стены, и стекла оконные; пока постель перестилала, пока зубы стискивала и спину свою усмиряла, чтоб ее обмыть, чистую ночную рубашку на нее натянуть да с кресла перетащить назад на кровать (она-то ни чуточки не помогала, а обмякла у меня на руках, хоть я-то знала, что день у нее хороший и она могла бы помочь, если бы захотела), пока пол мыла да мыла ее чертово кресло, а уж тут скрести требовалось во всю силу, как оно уже совсем засохло, – пока я все это делала, сердце у меня заходило и в глазах чернело. А она-то все понимала!

Понимала и радовалась!

Когда я домой пришла в этот вечер, сразу приняла анасину-три, чтоб спине полегче стало, и легла, и свернулась клубком, хоть спине более стало, и плакала, плакала, плакала. Просто остановиться не могла. Никогда я – ну разве тогда из-за Джо – не чувствовала себя такой разбитой и совсем

беспомощной. И еще такой чертовой старухой!

Вот еще причина, по какой она была стерва, – любила пакостничать.

Что-что, Фрэнк? Повторяла она?

Дурной ты, что ли? Конечно, повторяла. На следующей неделе то же самое устроила, и на следующей, и на следующей. Не так, конечно, как в самый первый раз, – отчасти потому, что не сумела накопить столько процентов, но, главное, потому, что я уже начеку была. Когда во второй раз она это устроила, я опять в слезах легла, а спина у меня так разнылась, что я тут же решила – уйду! А что с ней будет и кто за ней ухаживать станет, мне наплевать было, пусть бы сдохла с голоду в своей засранной кровати!

Я так и заснула в слезах, потому как от мысли, что я уйду, что она надо мной верх взяла, мне уж совсем погано стало, а вот проснулась совсем бодрой. Верно, правду говорят, будто мозги не засыпают, хоть сам человек и спит, а все думают и думают, и иногда это у них даже лучше получается, раз хозяин ихний не забывает их всякой дневной чушью – что еще там надо сделать, да что сготовить на обед, да когда телик включить, – ну чем-то в таком роде. Нет, это верно: ведь проснулась-то я бодрой потому, что уже знала, как она меня надует. Раньше-то я не сообразила, потому что все больше недооценивала ее. Ага, даже я, хотя знала же, до чего она хитрой бывает. А как я в том разобралась, так сразу поняла, как ее подловить.

Мне прямо нехорошо стало, как подумала, что придется-таки мне доверить девочкам пропылесосить ковер в гостиной – а от мысли, что чистить его возьмется Шона Уиндхем, мне и вовсе худо стало. Ты же знаешь, Энди, какая она чокнутая. Конечно, все Уиндхемы чокнутые, только она любому из них семьдесят очков вперед даст. И вина-то не ее: в крови что-то не то. Да я просто вообразить не могла, как Шона шныряет по гостиной, а Верин хрусталь и всякие стеклянные штучки прямо напрашиваются, чтоб их на пол смахнули.

Но что-нибудь сделать я должна была! Дважды попалась и со стыдом осталась, а у меня, к счастью, еще Сьюзи была. Ей тоже не в балете танцевать, но весь следующий год ковер пылесосила она и ни разу ничего не кокнула. Хорошая девочка, Фрэнк, и даже выразить тебе не могу, как я рада была получить от нее объявление о свадьбе, хоть жених и не с острова. Как они поживают-то? Ты чего-нибудь знаешь?

Ну и хорошо. Просто замечательно. Я рада за нее. Думается, младенцем они еще не обзавелись? Теперь, по-моему, люди ждут, пока не подойдет пора отправляться в дом для престарелых, прежде чем они...

Да, Энди! Да, собираюсь! Только вспомнил бы, что я тут с вами о моей жизни толкую – о моей чертовой жизни! Так сядь-ка в свое кресло, задери

ноги на стол и не дергайся! Будешь так нажимать, смотри, у тебя кишка лопнет!

Так что, Фрэнк, передай ей от меня наилучшие пожелания и добавь, что летом девяносто первого она Долорес Клейборн жизнь спасла. Можешь ей всю подноготную сообщить о четверговых говнопадах и как я с ними покончила. Я им тогда ничего толком не объясняла, и они знали только, что я бодаюсь с ее королевским величеством. Теперь-то я понимаю, мне стыдно было им признаваться. Видно, быть в проигрыше мне нравится не больше, чем Вере.

Все дело было в гудении пылесоса, понимаете? Вот что я поняла, когда проснулась в то утро. Я же вам сказала, что с ушами у нее все в порядке было и она по гудению пылесоса решала, действительно ли я гостиную убираю или стою на часах у лестницы. Когда пылесос на месте стоит, он только один звук испускает, понимаете? Зууууу да зуууу. А когда обрабатываешь ковер, звуков два, и они вроде бы как волнами поднимаются и опускаются. Уууооп, когда щетку вперед толкаешь, и зууп, когда ты ее к себе подтаскиваешь. Уууооп-зууп, уууооп-зууп, уууооп-зууп.

Да перестаньте вы, двое, в затылке скрести, лучше посмотрите, как Нэнси улыбается. Чтоб узнать, сколько времени кто из вас пылесосил, хватит на вас поглядеть, и все. Коли ты вправду думаешь, что это важно, сам попробуй. Сразу и услышишь, да только, думается, Мария помрет на месте, если вдруг войдет и увидит, как ты ковер в гостиной пылесосишь.

В то утро, значит, я сообразила, что она уже больше не ждет, чтоб пылесос загудел, потому как поняла, что это без толку теперь, и начала прислушиваться, чтоб звук волнами шел – значит, пылесос работает по-настоящему. И она откладывала пакостить, пока не услышит эти волны уууооп-зууп.

Я просто с ума сходила, поскорее бы проверить свою новую мысль, но не могла – она как раз тогда плоха сделалась и довольно-таки долго справляла свои дела в судно или мочила пеленочку, если приспичило. И я даже напугалась, что на этот раз она больше уж не прочухается. Я понимаю, это вам странным кажется, раз за ней было куда легче ходить, пока она совсем без ума была, да только, когда человеку придет такая хорошая мысль, уж очень хочется ее на деле испробовать. И еще, знаете, я ведь к этой стерве всякое чувствовала – не только придушить ее хотела. Да и как же иначе, коли я ее больше сорока лет знала. Один раз она мне плед связала, знаете ли, – задолго до того, как совсем плоха сделалась, и он все еще лежит у меня на кровати и греет в февральские ночки, когда ветер очень уж разыграется.

Ну только через месяц – или там месяц с половиной – после того, как меня осенило, начала она понемножку очухиваться. Смотрела «Ловушки» по маленькому телевизору в спальне и ругала участников, если они не знали, кто был президентом во время испано-американской войны или кто играл Мелани в «Унесенных ветром». И опять завела старую песню, как ее дети могут приехать навестить ее перед Днем Труда. Ну и, само собой, она требовала, чтобы ее усадили в кресло – а как же! Должна же она убедиться, что я буду простыни на шесть защипок сажать, а не на четыре.

И вот пришел четверг, когда я вытащила из-под нее судно в полдень, а там сухо и пусто, как у дурака в голове. «Ага, лиса ты старая, – думаю. – Вот теперь увидим!» Спускаюсь и зову Сьюзи Пролкс в гостиную.

– Я хочу, чтобы сегодня тут пропылесосила ты, Сьюзи, – говорю.

– Ладно, миссис Клейборн, – отвечает. Они обе меня, Энди, так называли, и почти все люди на острове тоже. Я никогда ничего против не возражала – ни в церкви, ни где еще, вот так оно и остается. Может, они думают, что где-то на своем пестром жизненном пути я вышла за какого-то Клейборна... А может, мне просто хочется верить, что почти все они позабыли про Джо, хотя, думается, что очень даже не все. Ну да в конечном счете не важно, так ли, эдак ли. Думается, у меня есть право верить в то, во что я хочу верить. Что ни говори, а замужем-то за сукиным сыном я была, а не кто-нибудь другой.

– Не твое дело, – говорю. – Только ты сама не ори так. И не вздумай что-нибудь тут разбить, Сьюзен Эмма Пролкс. Только посмей!

Ну она покраснела, прямо как кузов пожарной машины, даже смешно стало.

– Откуда вы знаете, что меня еще и Эмма звать?

– Да уж знаю, – говорю. – Я на Литл-Толле сто лет прожила, и тому, что я знаю, и тем, о ком знаю, счету нет. А ты только поменьше локтями размахивай возле мебели и хрустальных ваз миссис Пресвятой, особенно когда будешь пятиться, и можешь ни о чем не беспокоиться.

– Я буду осторожной, – сказала она.

Ну я отдала ей «керби», вышла в холл, приложила руки ко рту и как гаркну:

– Сьюзи, Шона! Я сейчас гостиную пылесосить буду!

Сьюзи-то, конечно, совсем рядом стоит, ну и, можете мне поверить, у нее вместо лица вопросительный знак сделался. А я только рукой на нее махнула: берись, мол, за дело, а на меня внимания не обращай. Ну она и послушалась.

А я на цыпочках к лестнице и встала на своем месте. Глупость,

конечно, да только я такого азарта не чувствовала с того самого дня, как отец меня в первый раз на охоту взял – мне тогда двенадцать сравнялось. Ну то самое чувство: сердце колотится и глухо так отдается по всей груди и в шее. В гостиной у нее, кроме дорогого хрусталя, было много всяких старинных вещиц, но я даже и не подумала, как Сьюзи Пролкс крутится там и вертится среди них, что твой дервиш. Можете поверить?

Я заставила себя простоять на месте, сколько выдержала, – минуты с полторы, думается. И как припущу наверх! И когда влетела к ней в спальню, она вся уже красная, глаза зажмурены, кулаки стиснуты и знай свое: «Анхх! Анххххх! АНХХХХХ!» Глаза она сразу раскрыла, чуть хлопнула дверь. Жаль, у меня фотокамеры не было – просто умереть!

– Долорес, немедленно убирайся отсюда, – сипит она. – Я хочу вздремнуть, а ты каждые двадцать минут врываешься ко мне, точно бык к корове!

– Что ж, – говорю, – я уйду, только прежде этот поджопник под вас подложу. По запаху судя, вашему запору очень на пользу пошло, что вы всполошились.

Она хлопала меня по рукам и ругалась – когда ей взбрело, ругалась она – дай Боже, а чуть слово поперек скажут, тут ей и взбретет, да я-то внимания не обращала. Подсунула я под нее судно в один момент, ну и, как говорится, все наружу вышло без сучка без задоринки. А потом я посмотрела на нее, а она на меня, и обе мы промолчали – мы ведь друг друга ох как давно знали.

«Ну что, вонючая твоя задница, – говорила я глазами, – опять я с тобой поквиталась, и как это тебе нравится?»

А она своими отвечает: «Не очень, Долорес, но ничего: разочек поквиталась, а потом опять в дурах останешься».

Да только ничего тут у нее больше не получилось. Пакостила, конечно, но чтоб, как я вам рассказывала, говно на занавески попадало, это уж извините. И остался тот случай ее последним «ура!». Ну и дни, когда у нее в голове прояснялось, становились все реже и реже да и куда короче. Моей больной спине это было на пользу, а меня все равно грусть брала. Она была той еще стервой, да я-то к ней привыкла, если понимаете, о чем я.

Фрэнк, ты мне еще водички не нальешь?

Спасибо. От разговору в горле пересыхает. А если ты решишь, Энди, дать своей бутылочке свежим воздухом подышать, я никому не скажу.

Нет? Ну да от таких, как ты, другого и ждать нечего.

Ну вот... о чем бишь я?

Да знаю я. О том, какой она была. Ну а третья причина, почему она

стервой была, самая из них плохая. Стервой она была, потому что была истосковавшейся старухой, которой оставалось только умереть в спальне на втором этаже на острове, далеко от всех мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это само по себе худо, а она еще и ума в ожидании лишалась... и что-то в ней понимало, что все остальное точно подмытый речной берег, который вот-вот сползет в воду.

Одинока она была, вот что, и вот этого я никак понять не могла – ну не понимала я, почему она всю свою жизнь швырнула на ветер и поселилась безвыездно на острове. До вчерашнего дня не понимала. А сверх того она напугана была, и вот это я очень даже хорошо понимала. И все равно была в ней страшная, жуткая такая сила, будто в умирающей королеве, которая держится за свою корону и в последние дни жизни. Словно бы сам Бог должен по одному пальцу ей отгибать.

Бывали у нее хорошие дни и плохие дни... Я уж вам говорила. А припадки ее, как я их называю, всегда случались между ними – когда она после нескольких дней ясности переходила к неделе-двум смутности и от недели-двух смутности назад к дням ясности. На переходе ее как бы нигде не было... и что-то в ней знало и это. Вот тогда-то и бывали у нее галлюцинации.

То есть если это вправду были галлюцинации. Теперь я уж не так в этом уверена, как прежде. Может, я вам расскажу, а может, и нет, посмотрю, как буду себя чувствовать, когда время подойдет.

Думается, не всегда они случались по воскресеньям днем или по ночам. Думается, эти мне особенно запомнились из-за тишины в доме, из-за того, как я пугалась, когда она начинала вопить. Словно тебя ледяной водой обдали из ведра в летнюю жару. И всякий раз, чуть она начнет вопить, у меня сердце прямо останавливалось; и всякий раз входила я в ее комнату и думала, что вот сейчас она умрет. А вот чего она пугалась, понять нельзя было. То есть я знала, чего она боится, и довольно-таки ясно понимала, чего она боится – но не почему.

– Провода! – кричала она иногда, когда я входила. Сама скорчится на постели, руки сожмет между грудями, дряблые губы раскрыты и дрожат, а сама савана белее, и слезы стекают по морщинам под глазами. – Провода, Долорес, не пускай провода! – И всегда в одно место тычет – в плинтус в дальнем углу.

Конечно, там ничего не было, да ей-то все равно чудилось. Она видела, как все эти провода вылезают из стены и шелестят по полу к ее кровати – то есть я так думаю. Ну а я бегом вниз на кухню, хватаю с полки ножик потяжелее и назад с ним наверх. Стану на колени в углу – или поближе к

кровати, если по ней видно, что они уже далеко заползли, – и делаю вид, будто рублю их. А сама лезвие легонько опускаю, чтоб паркет не попортить, и так машу, пока она не поуспокоится.

А тогда подойду к ней и утру ей слезы своим передником или бумажной салфеткой – она всегда их запас под подушкой держала, потом поцелую раз-другой и скажу:

– Ну-ну, деточка, их больше нету. Я все эти скверные провода порубила. Вот сама погляди.

Она поглядит (хотя в то время, про которое я вам рассказываю, увидеть-то она ничего не могла), еще поплачет, а потом обнимет меня и скажет:

– Спасибо, Долорес, я уж думала, что на этот раз они до меня обязательно доберутся.

А иногда вдруг меня Брендой назовет – такая у Донованов экономка была в их балтиморском доме.

А бывало, так и Кларисой меня зовет. Это ее сестра была, умерла в пятьдесят восьмом.

А случилось, я поднимусь к ней, а она с кровати почти сползла и кричит, что в подушке у нее змея. Или одеяло на голову натянет и орет, что в окна увеличительные стекла вставлены и солнце через них сейчас ее сожжет. Клянется даже, что у нее волосы уже трещат. Пусть хоть дождь льет или туман, хуже чем в башке у пьяницы, она знай свое твердит, что солнце спалит ее заживо. Так я все шторы спущу, обниму ее и держу так, пока она не успокоится. А иной раз дольше, потому как она и замолчит, а я чувствую, что ее дрожь бьет, точно щенка, которого скверные мальчишки замучили. Просит и просит, чтоб я ее кожу осмотрела, не вскочили ли пузыри от ожогов. Я ей повторяю, что никаких волдырей и в помине нет, ну иногда она и заснет себе. А иногда не засыпает, а вроде как забывается и бормочет что-то, будто разговаривает с людьми, а их давно на свете нет. А иной раз начинает говорить по-французски – да не на островном парлеву, а на настоящем. Она и ее муж любили Париж и ездили туда, когда только могли, иногда с детьми, иногда одни. Когда она бывала подороже, она начинала рассказывать о нем – кафе, ночные клубы, галереи, пароходики на Сене, – а мне нравилось слушать. Был у нее дар на слова, у Веры то есть, и когда она что описывала, так будто своими глазами все видишь.

Но самое страшное – ну то, чего она боялась больше всего, – были мусорные кролики, и только. Ну вы знаете, такие комочки пыли с мусором, которые накапливаются под кроватями, за дверьми и по углам. По виду они на репейники смахивают. Я понимала, что причиной они, даже когда она

ничего не говорила, и почти всегда мне удавалось ее успокоить, но почему она так боялась горстки этих говняшек из пыли и чем они ей представлялись, этого я не знаю, хотя была у меня однажды мысль. Не смейтесь, только она мне во сне пришла.

Ну да, к счастью, мусорные кролики ей реже виделись, чем солнце за увеличительным стеклом и волдыри на коже или провода в углу. Но уж если до них дело доходило, я знала, трудно мне будет. Знаю: мусорные кролики хоть в самую глухую ночь, а я сплю, и дверь ко мне в комнату закрыта, но как она начнет орать... Когда ей другое втемяшивалось...

Что, детка?

А разве...

Да нет, ты свою машину ближе ко мне не придвигай, если нужно погромче, так я буду погромче. Вообще-то такой громкоголосой бабы, как я, поискать – Джо говаривал, что уши надо ватой затыкать, когда я дома. Но от этих ее мусорных кроликов меня жуть брала – вот потому я, видно, даже сейчас шептать начала. Хоть она умерла, они на меня жуть наводят. Иногда я ее отругивала: «Ну чего вы такие глупости, Вера, напридумываете?» Да только это не глупости были, для нее то есть, для Веры. Мне столько раз чудилось, как к ней конец придет – напугает себя до смерти погаными мусорными кроликами. Да, пожалуй что, оно так и вышло, если подумать.

А сказать-то я хотела, что она, когда ей другое что мерещилось – змея в подушке, солнце, провода, – она кричала. А от мусорных кроликов она вопила. Даже и без слов. Только вопли, такие протяжные, что тебе в сердце будто ледяных кубиков напихали.

Бегу туда, а она волосы на себе рвет или лицо ногтями корябает, ну ведьма ведьмой. Глаза выпучены, ну прямо два яйца всмятку, и обязательно в угол смотрят, не в тот, так в этот.

Иногда сумеет выговорить: «Мусорные кролики, Долорес! О Господи, мусорные кролики!» А то просто плачет и хрипит. Прижмет на секунду ладони к глазам, тут же снова их отнимет. Будто и смотреть у нее сил нет, а и не смотреть тоже. И опять ногтями лицо корябает. Ногти я ей подстригала короче некуда, и все равно она до крови себя царапала опять и опять. А я всякий раз диву давалась: как это сердце у нее выдерживает такой ужас – в ее-то годы и с ее толщиной.

Один раз она с кровати упала... и лежит себе, а одна нога под туловище подвернута. Я прямо насмерть перепугалась. Вбегаю, а она на полу – кулаками по паркету колотит, точно балованный ребенок, когда не по его делают, и орет так, что вот-вот крышу скинет. За все года, что я у нее проработала, тут я в первый раз позвонила среди ночи доктору Френо. Он

приехал из Джонспорта в моторке Колли Вайолетта. Вызвала-то я его, потому как думала, что она ногу сломала – так она изогнута была – и что шок ее доконает. Только нога цела оказалась, уж не знаю как, но Френо сказал, что это просто растяжение, а она на другой день проснулась с ясной головой и ничегошеньки не помнила. Я раза два ее про мусорных кроликов спрашивала, когда она более-менее разбиралась что к чему, а она смотрела на меня, будто я совсем спятила. Понятия не имела, о чем это я говорю.

Ну после двух-трех раз я разобралась, что делать. Чуть она завопит, я спрыгну с кровати и за дверь – ее-то дверь третья от моей, а между нами бельевая. А в коридоре с того раза, как она подняла визг из-за мусорных кроликов, я держала стоймя веник с совком на ручке. Так я влетала к ней в комнату, размахивая веником, ну прямо будто поезд хочу остановить, а сама тоже ору (иначе я бы и сама себя не услышала): «Сейчас я их, Вера! Сейчас я их!»

И давай подметать в том углу, куда она смотрит, а потом для верности и в остальных. Иногда она после этого успокаивалась, но чаще принималась вопить, что они у нее под кроватью. Ну я хлоп на четвереньки и делаю вид, будто и там мету. Один раз дуреха старая с перепугу чуть на меня с кровати не свалилась – сползла на самый край и все старалась под кровать заглянуть. Верно, расплющила бы меня, что твою муху. Вот смеху было бы!

Ну подмету я все места, которых она пугалась, покажу ей пустой совок и скажу:

– Видишь, деточка? Я всех этих колючих тварей вымела.

А она сперва поглядит на совок, а сама вся дрожит, а глаза слез полны, что на вид ну прямо камешки на дне, если сверху в ручей поглядеть, и шепчет:

– Ах, Долорес, они такие серые! Такие мерзкие! Пожалуйста, унеси их!

Я пойду поставлю веник с совком у моей двери, чтоб под рукой были, когда опять понадобятся, а потом вернусь и успокаиваю ее как могу. Да и себя тоже. А если вы думаете, что мне утешения не требовалось, так попробуйте проснуться среди ночи совсем одни в большущем старом доме, точно в склепе, а снаружи ветер воет, а сумасшедшая старуха вопит внутри. Сердце у меня стучало, как паровозные колеса, мне и вздохнуть-то трудно было... но не могла же я ей показать, что со мной дееется, не то бы она ко мне доверие потеряла, а тогда что бы мы делали?

После припадков этих я ей волосы расчесывала – очень это быстро ее успокаивало. Сначала-то стонет, плачет, а иной раз протянет руки, обнимет

меня, лицом к моему животу прижмется. Не забуду, какими горячими у нее щеки и лоб всегда бывали, как она мусорными кроликами забредит, а бывало насквозь мою рубашку слезами промочит. Бедная старуха! Да что мы все тут понимаем, каково это быть старой и от нечисти отбиваться, не зная, какой и почему.

Иной раз и полчаса щеткой по ее голове егозишь, и все без толку. Смотрит мимо меня в угол да вдруг как всхлипнет! А то машет рукой в темноту под кроватью, а потом отдергивает, будто кто-то там ее укусить норовит. Раза два даже мне казалось, будто там что-то шмыгает, и губу закусывала, чтоб не закричать. Видела-то я, конечно, тень от ее руки и знаю это, да только понимаете, до чего я с ней доходила, а? Даже я, хотя обычно меня не запугать и не переорать.

В те разы, когда ничего другого не оставалось, я залезала к ней под одеяло. Она руку под меня просунет, обнимет, а голову положит на то, что от моих груди оставалось, а я ее тоже обниму и держу, пока она не заснет. А тогда тихонько выберусь из кровати – медленно-медленно, чтоб ее не разбудить, и назад к себе в комнату. А бывали случаи, когда я и не уходила. Редко, но бывали – когда она меня посреди ночи разбудит своими завываниями, я и засну с ней.

Вот в такую-то ночь мне и приснилось про мусорных кроликов. Только во сне я была не я, я была она и лежала на этой больничной кровати такая жирная, что без чужой помощи и повернуться не могла, а между ног у меня все горит от воспаления, которое никогда не проходило, потому что у нее все там всегда сырым было от недержания. Коврик с «Добро пожаловать» для каждой заразы, каждого микроба, можно сказать, и всегда повернутый куда надо.

И вот, значит, смотрю я в угол и вижу вроде бы голову, слепленную из пыли и мусора. Глаза у нее заведены под лоб, рот открыт и полон длинных острых зубов из пыли. И тут начинает она к кровати приближаться, медленно так, а когда она опять повернулась лицом, глаза прямо на меня смотрят, и вижу я, что это Майкл Донован, Верин муж. Да только когда она второй оборот сделала, так гляжу – мой муж! Джо Сент-Джордж, и усмешечка такая подлая, а длинные пылевые зубы все щелкают. А когда она в третий раз перекатилась, лицо было мне вовсе неизвестное, да только она-то была живая. И голодная. И подбиралась ко мне, чтоб сожрать меня.

Я так дернулась, что проснулась и сама чуть с кровати не сверзилась. Уже рассвело, и солнечный свет на пол падал полосками. Вера еще спала. Руку мне всю облюнила, а у меня сил нету обтереть. Дрожу вся, мокрая-премокрая от пота, и никак не поверю, что взаправду проснулась и все в

порядке – ну, знаете, как после кошмара бывает. И на секунду мне почудилось, что на полу у кровати лежит эта мусорная голова с большими пустыми глазами и длинными пылевыми зубами. Вот до чего я дошла! Ну тут она пропала – пол и углы чистые, как всегда. Только с той поры я все думала, а не она ли на меня этот сон наслала, и, может, я увидела чуточку того, что она видела, когда вопила. Может, подцепила я каплю ее страха да и сделала своей. Как, по-вашему, такое в жизни взаправду случается или только в грошовых газетенках, которые в бакалейной лавке продают? Этого я не знаю, зато знаю, что сон этот меня до смерти напугал.

Ну да ладно. Хватит того, что это третья причина, почему она стервой была – вопли ее по воскресеньям и посреди ночи. А все равно жалость брала. И вся ее стервозность, если копнуть, тоже на жалость била, хотя это не мешало мне иногда просто стискивать зубы, чтоб не свернуть ей голову, как катушку на шпеньеке, да и всякий на моем месте то же почувствовал, кроме разве что Святой Жанны, мать ее, Арки. Думается, когда Сьюзи с Шоной слышали, как я в тот день грозилась из окна ее выкинуть... или когда другие люди слышали, как я ее... или мы друг друга на все корки разделяем... ну так они наверняка воображали, что я, чуть она помрет, засучу юбку и отобью чечетку на ее могилке. И думается, они тебе вчера и сегодня кое-чего про меня наговорили – не все, так некоторые, а, Энди? Да ты не отвечай, не отвечай, за тебя уже твоя рожа ответила. Ну просто доска для объявлений. Да и знаю я, до чего люди сплетничать любят. Они про меня с Верой вдосталь насплетничались, а уж про меня и Джо так вовсе – немножко, пока он жив был, и куда больше после его смерти. В наших местах человек ничего интереснее сделать не может, чем помереть в одночасье! Ты разве не замечал?

Вот мы и добрались до Джо.

Этой вот части я особенно боялась, ну да врать-то что толку? Я уже вам сказала, что убила его, но самое тяжелое еще впереди: как... и почему... и когда пришлось это сделать.

Я сегодня про Джо много думала, Энди, – если правду сказать, так о нем куда больше, чем про Веру. Все старалась вспомнить, и чего я за него замуж пошла, это одно. И сначала – ну никак! Меня даже страх обуял, ну как Веру, когда ей змея в подушке чудилась. А потом поняла, в чем закавыка: я все про любовь думала, будто я одна из тех дурочек, которых Вера нанимала в июне, а потом еще в середине лета увольняла, потому как они ее правила не соблюдали. Я все про любовь думала, а любви-то было – кот наплакал даже тогда, в сорок пятом, когда мне восемнадцать стукнуло, а ему девятнадцать, и мир был новый, и все впереди.

Знаете, что мне единственное на память пришло, пока я сегодня отмораживала задницу на ступеньках и все про любовь вспоминала? Что лоб у него красивый был. Я сидела сбоку от него в классе, когда мы в средней школе учились – это во время второй мировой... И вот вспомнила, какой лоб у него был – гладенький, без единого прыщика. На щеках и на подбородке прыщики у него кое-где были, а по сторонам носа так и угри, но лоб у него был прямо кремовый. И помню, как мне хотелось его потрогать... ну просто мечтала потрогать, если уж всю правду сказать – проверить, такой ли уж он гладенький. А когда он пригласил меня на школьный вечер, я сразу согласилась и погладила-таки его лоб – он был таким гладким, каким казался, а волосы были зачесаны от него такими красивыми волнами! И я в темноте гладила ему и лоб, и волосы, а оркестр в зале гостиницы «Сеймсет» играл «Лунный коктейль»... Вот что мне вспомнилось, когда я несколько часов просидела на чертовых шатких ступеньках и продрожала на ветру, так что видите, что-то ведь все-таки было... Конечно, и месяца не прошло, как я уже не только лоб, а еще много чего у него трогала, и вот тут-то я и допустила главную свою ошибку.

Но одно поймите правильно: я ведь не говорю, будто провела лучшие годы моей жизни с чертовым выпивохой только потому, что мне нравился его лоб, когда в классе на седьмом уроке свет на него падал косо. Нет уж. Я вам про то толкую, что вот вся любовь, какую я сумела сегодня вспомнить, и от этого горько мне. Сидела нынче на ступеньках у Восточного мыса, вспоминала давние времена... тяжело мне было. Я ведь в первый раз увидела, что, может, продала себя задешево и, может, потому, что думала, будто такой, как я, ничего, кроме самого дешевого, и не положено. Я знаю, я в первый раз посмела подумать, что заслуживала больше любви, чем Джо Сент-Джордж был способен потратить на кого-нибудь (кроме разве что самого себя). Может, вам не верится, что старая стерва вроде меня способна верить в любовь, но на деле-то я только в нее и верю.

Только все это само по себе и отношения к тому, почему я за него пошла, почти никакого не имеет. Так и запомните. У меня в животе шестинедельная девочка росла, когда я ему сказала, что да и что буду, пока смерть нас не разлучит. Тут уж на попятный не пойдешь, печально, но хоть смысл есть. А все остальные причины были дурацкие, а одному меня жизнь научила: причины дурацкие – и брак дурацкий.

Мне надоело с матерью свариться.

Мне надоело слушать, как отец меня поучает.

Все мои подруги повыходили и обзавелись своими домами – так я хотела стать взрослой, как они; надоело быть глупой девчонкой.

Он сказал, что хочет меня, и я ему поверила.

Он сказал, что любит меня, и этому я тоже поверила... А когда он сказал так и спросил, чувствую ли я к нему то же, как-то грубо было бы ответить «нет».

И еще я подумать боялась, что со мной будет, если я не соглашусь. Куда тогда деваться, что делать, кто присмотрит за моим маленьким, пока я буду работать... если найду работу.

В записанном виде, Нэнси, все это, конечно, по-дурацки выглядит, но самое дурацкое вот что: я знаю десяток баб, с кем я в школу девчонкой ходила, и замуж они повыскакивали по тем же причинам, и многие пока еще мужние жены, и чуть не все одной надеждой и живы – дотянуть, чтоб муженька похоронить, а потом вытрясти его пивную вонь из простынь.

К пятьдесят второму я и думать про его лоб забыла, а к пятьдесят шестому он и весь был мне ни к чему, и, думается, к тому времени, когда Кеннеди сменил Айка, я его уже ненавидела, но у меня и в мыслях не было его убивать. Я думала, что остаюсь с ним, потому что детям нужен отец – чем не причина? Обхохочешься! Только это чистая правда, хоть поклянусь. И еще в одном поклянусь: пошли мне Бог повторение, я б его снова убила, и пусть хоть адские муки и вечная гибель... а их, наверное, мне не миновать.

Думается, на Литл-Толле все, кроме приезжих, знают, что я его убила, и небось воображают, будто знают, за что – за то, как он распускал со мной руки. Но кончилось для него плохо не потому, что он распускал их со мной, и, попросту говоря, что бы там ни думали на острове в то время, последние три года нашего брака он до меня пальцем не касался. От этой глупости я его излечила не то в конце шестидесятого года, не то в начале шестьдесят первого.

До того времени он меня часто мутузил, да-да. Не стану отрицать. И я терпела – тоже не стану отрицать. В первый раз он меня ударил во вторую ночь нашего брака. Мы поехали на воскресенье в Бостон – это был наш медовый месяц – и остановились в «Паркер-Хаусе». И почти носа из него не высывали. Мы же были просто парой деревенских мышек, понимаете? И боялись заблудиться. Джо сказал, что провалиться ему на этом месте, но он не потратит двадцать пять долларов, которые нам подарили мои на развлечения, только чтоб такси довезло нас до отеля, потому что мы с дороги сбились. Господи, ну и дурак же он был! Хотя и я была не умнее... но в одном Джо от меня отличался (и я только рада этому!). Вечная эта его подозрительность. Ему мерещилось, что все люди на земле только и думают, как бы его надуть, вот так. И когда он напивался, мне часто в

голову приходило, что это он для того, чтоб спать, не держа один глаз открытым.

Ну да это к делу не относится. А рассказать я вам хотела, как вечером в субботу мы сошли в ресторан, хорошо поужинали и поднялись к себе в номер. Джо, пока он по коридору шел, здорово на правый борт кренило, вот как сейчас вижу. Он за ужином раздавил четыре-пять банок пива вдобавок к десятку, которые выхлебал за день. Ну чуть мы вошли в номер, он встал и уставился на меня, да так долго, что я спросила, не видит ли он зеленых чертенят.

– Нет, – говорит он. – Зато я видел, как в ресторане этот парень пялился тебе под платье, Долорес. Глаза у него прямо как на пружинах прыгали. А ты ведь знала, что он на тебя вытаращился, а?

Я чуть было не ответила, что сиди там в углу Гэри Купер с Ритой Хейуорт, я бы их не заметила, а потом передумала. Что зря время тратить? Спорить с Джо, когда он пил, никакого смысла не было. Я за него шла не зажмурившись, и не хочу перед вами прикидываться.

– Если какой-то парень пялился мне под платье, Джо, почему ты не подошел к нему и не попросил, чтоб он глаза закрыл? – спросила я. В шутку спросила – может, хотела отвлечь его, не помню уже, но он-то всерьез принял. Вот это я помню. Вообще-то Джо был не из тех, кто понимает шутки, просто скажу, что чувства юмора у него ни на грош не нашлось бы. Вот этого я не знала, когда с ним подзаконилась. Тогда-то мне казалось, что чувство юмора вроде носа или ушей – у одного одни, у другого другие, но есть оно у всех.

Тут он меня схватил, опрокинул к себе на колени и отшлепал своей туфлей.

– До конца твоей жизни, Долорес, чтоб никто, кроме меня, не знал, какого цвета на тебе белье, – сказал он. – Слышала? Чтоб никто, кроме меня!

Я-то сдуру подумала, что это вроде как любовная игра – что он притворяется, будто ревнует, чтоб мне польстить. Вот какая была глупенькая. Ревность это была настоящая, только к любви она никакого отношения не имела. Так вот собака поставит лапу на кость и зарычит, коли к ней подойти. Тогда-то я этого не понимала, ну и спустила ему. А позже спускала, потому как думала, что на то и замужество, чтоб муж жену иногда поколачивал, хоть это и не самая приятная его часть. Ну да унитазаы мять тоже приятности мало, но почти все женщины с ними возились, чуть убирали подвенечное платье с фатой на чердак. Верно, Нэнси?

Мой собственный отец иногда маму поколачивал, и оттого-то мне

небось и втемяшилось, будто так оно и следует – потерпеть надо, и все. Отца-то я очень любила, и они друг друга очень любили, но когда что не по его выходило, он был на руку скор.

Вот помню раз... Мне тогда девять было, а может, и восемь... Так, отец вернулся с сенокоса – они луг Джорджа Ричардса у Западного мыса выкашивали, – а у мамы ужин на столе не стоит. Уж не помню, почему она задержалась с ним, зато ясно так помню все, что случилось, когда он в дом вошел. Был он в тапках: сапоги и носки за порогом снял – в них колючек полно набилось, – а лицо и плечи у него докрасна обгорели. Волосы к вискам прилипли, и до того у него лоб потный был, что клочок сена налип на складки, которые поперек тянулись. Разгоряченный он был, усталый и весь на взводе.

Входит в кухню, а на столе только стеклянный кувшин с цветами. Оборачивается он к маме и говорит: «А ужин мой где, дура?» Она было открыла рот, но ничего сказать не успела: он прижал ладонь к ее лицу и отшвырнул в угол. Я в дверях стояла и все видела. А он вперед идет, прямо на меня – голову опустил, волосы на глаза свисают. Всякий раз, как я вижу – мужчина вот так домой возвращается, усталый после тяжелого дня, с обеденным бидончиком в руке, мне сразу отец вспоминается. Ну, я испугалась и хотела в сторону отбежать: а вдруг он и меня в угол оттолкнет? Только ноги меня не слушались. Но он ничего такого не сделал, а ухватил меня своими теплыми мозолистыми руками, отставил и вышел вон. Сел на колоду, руки сложил на коленях и опустил голову, будто их рассматривает. Куры так и прыснули во все стороны, но потом вернулись и начали клевать у самых его ног. Я думала, он их пнет так, что пух полетит, а он их и не прогнал даже.

А я на маму оглянулась. Она так в углу и сидела. На лицо посудное полотенце накинула и плачет под ним, а руки на груди скрестила. Вот это я лучше всего запомнила, хоть и не знаю почему, – как руки у нее на груди были сложены. Подошла я к ней, обняла, а она почувствовала, как мои руки ее поперек живота обвили, и тоже меня обняла. А потом сняла полотенце с лица, утерла им глаза, а мне велела пойти спросить папу, чего он хочет – стакан холодного лимонада или пива.

«Только не забудь сказать ему, – говорит, – что пива только две бутылки осталось. Коли ему больше хочется, то пусть в лавку сходит или вовсе не начинает».

Я вышла во двор и сказала ему, а он ответил, что пива не хочет, а вот стакан лимонада будет в самую масть. Я побежала за лимонадом. А мама уже ужин собирала. Лицо у нее поопухло от слез, но она напевала, а ночью

они трясли кровать, как почти каждую ночь. А про то, что было, ни словечка, и ничего больше. Тогда-то такие вещи назывались «домашним учением» и входили в обязанности мужчины, а я, если потом и вспоминала, так просто думала, что, наверное, маме это требовалось, не то бы отец ни за что такого не сделал бы.

Ну я и еще несколько раз видела, как он ее учил, но то запомнила особенно. И никогда не видела, чтоб он ее кулаком бил, вот как Джо меня иногда, но как-то он ее отхлестал по ногам полоской мокрой парусины, и боль, наверное, была страшная. На ногах красные пятна остались и только к вечеру сошли.

Теперь о домашнем учении больше не говорят, выражение это вовсе из употребления вышло – туда ему и дорога! Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины – возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий, чуть они с него сойдут. Только, хоть я с такой мыслью выросла, не думайте, будто я это считала правильным – так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, не об учении думает... и все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтоб еще на это силы тратить.

Быть женой Джо... а, в задницу! Да и что такое семейная жизнь? Думается, у всех по-разному, но только нет такого брака, чтоб он изнутри был, каким со стороны кажется, уж поверьте мне. То, что люди со стороны видят, и то, что на самом деле есть, это обычно не ближе дальних родственничков. Иной раз жуть берет, иной раз смешно, а чаще, как и все остальное в жизни, и жутко, и смешно.

Люди вон думают: Джо был алкоголиком и бил меня, а может, и детей, когда напивался. Они думают, что один раз переложил, и я его на тот свет спровадила. Да, правда, что Джо пил и иногда отправлялся в Джонспорт на собрания анонимных алкоголиков, только алкоголиком он был не больше меня. Каждые четыре-пять месяцев пускался он в загул, чаще с дрянью вроде Рика Тибодо или Стиви Брукса – вот они-то настоящие алкоголики были, – а потом к спиртному и не прикасался, если не считать глотка-другого, когда он вечером домой возвращался. Глоток-другой, и все – когда у него бутылка была, он любил ее на подольше растянуть. Настоящие алкаши, каких я знавала, заполучив бутылку, тут же ее вылакивали, что бы в ней ни было – «Джим Бим», «Олд Дьюк» или там антифриз, через вату процеженный. Настоящая пьянь только об одном думает: прикончить бутылку в руке и стащить ее с неба, если выйдет. Нет, алкоголиком он не

был, только его устраивало, чтоб люди так думали – будто он им побывал. Это ему помогало работу найти. Особенно летом. Отношение к анонимным алкоголикам за эти годы переменялось, – я знаю, теперь про это куда больше говорят, – но одно прежним осталось. То, как люди стараются помочь тому, кто наплетет, что он сам себе помогает, в поте лица старается. Джо целый год в рот капли не брал – на людях то есть, и в Джонспорте в его честь вечер устроили – преподнесли ему торт и медаль, вот как! Ну и когда он приходил наниматься к летним приезжим, то сразу же говорил, что он – исправившийся алкоголик. «Если не возьмете меня из-за этого, – говорил он, – я на вас в обиде не буду, а не признаться не могу. Я больше года хожу на собрание общества «Анонимные алкоголики», а там нас учат, что без честности не бывает трезвости».

И тут вытаскивает свою золотую медальку за год трезвости, предъявляет ее им, а у самого вид такой, будто у него во рту и масло не тает. Думается, некоторые чуть слезу не пускали, пока Джо расписывал, как он каждый день с собой борется, и не сдаётся, и в Боге опоры ищет всякий раз, чуть его на спиртное потянет... а его послушать, так случалось это каждые четверть часа. Обычно они прямо за него ухватывались и, может, платили на пятьдесят центов, а то и на доллар в час больше, чем собирались. Казалось бы, после Дня Труда на приманку эту попадаться будет некому, но на нее даже здесь на острове клевали люди, которые его каждый день видели и могли бы разобраться что к чему.

А правда та, что Джо, когда бил меня, почти всегда был трезвее трезвого. Нализавшись, он вообще меня не замечал, ни так ни эдак. Затем не то в шестидесятом, не то в шестьдесят первом заявляется он домой как-то вечером – помогал Чарли Диспензери лодку на берег выволочь. Нагнулся он к холодильнику банку «коки» вытащить, а я гляжу – брюки у него на заднице лопнули. Ну я и засмеялась. Не смогла удержаться. Он ничего не сказал, а когда я подошла к плите посмотреть, как там капуста варится на ужин – помню, точно вчера это было! – он выхватил из корзины кленовое полешко и съездил меня по низу спины. Ну боль была! Если вас когда-нибудь по почкам били, тогда поймете, какая! Они сразу такие маленькие делаются, горячие и тяжелые, точно вот-вот сорвутся с того, на чем там подвешены, и ухнут вниз, точно свинцовая дробь в ведро с водой.

Доковыляла я до стола и присела на стул. Будь до стула еще шаг, я бы на пол рухнула. Сижу и жду, чтоб боль поутихла. Не вскрикнула даже, чтоб детей не напугать, только слезы у меня градом катятся. Ну не могу их унять, и все. Это были слезы боли, а их не удержишь, ни ради чего, ни ради кого.

– Не смей надо мной смеяться, стерва! – говорит Джо. Бросил полешко назад в корзину и уселся читать «Америкен». – Пора бы тебе за десять лет зарубить это себе на носу.

Со стула я только через двадцать минут встать сумела. Пришлось Селену позвать, чтоб она кастрюлю с плиты сняла, хоть до плиты-то и пяти шагов не было.

– Мамочка, – спрашивает, – а почему ты сама не можешь? А то мы с Джои мультики смотрим.

– Отдыхаю, – отвечаю ей.

– Во-во! – отзывается Джо из-за газеты. – Она столько языком намолочила, что дух перевести не может! – И захохотал.

Этот смех все и решил. Я тут же поклялась себе, что он больше до меня не дотронется или дорого заплатит.

Пужинали мы как обычно; а потом, как обычно, телевизор посмотрели – я и старшие с дивана, а Малыш Пит на коленях у отца в большом кресле. Пит, как обычно, прямо перед телевизором и заснул в половине восьмого, и Джо унес его в кровать. Час спустя я отослала спать Джо Младшего, а Селена ушла в девять. Я обычно ложилась в десять, а Джо до полуночи просиживал – смотрел программу, дремал, газету дочитывал и ковырял в носу. Так что видишь, Фрэнк, тебе особо стыдиться нечего: некоторые эту привычку и взрослыми сохраняют.

Но в тот вечер я в свой час спать не пошла, а осталась сидеть с Джо. Спина у меня полегчала. И можно было сделать то, что я задумала. Может, я и трусила, но теперь не помню. Я все ждала, чтоб он задремал. И дождалась.

Тогда я встала, прошла на кухню и взяла со стола сливочник. Я его не специально выбрала, он на столе остался только потому, что очередь убираться была Джо Младшего, ну, и он забыл поставить сливочник в холодильник. Джо Младший всегда чего-нибудь да забывал: убрать сливочник, накрыть масленку крышкой, обернуть хлеб так, чтобы верхний кусок к утру не зачерствел, – и теперь, когда я смотрю в телевизионных новостях, как он речь произносит или интервью дает, обязательно про это вспоминаю... и все думаю, что бы сказали демократы, если бы узнали, что лидер большинства в сенате штата Мэн в одиннадцать лет не умел толком убрать все с кухонного стола. Все равно я им горжусь, так и запомните. Я им горжусь, хоть он и распроклятый демократ!

Ну и на этот раз он забыл убрать именно то, что мне требовалось. Маленький, но тяжелый и как раз мне по руке. Я подошла к дровам и взяла топорик, который у нас лежал на полке над ними. Потому вернулась в

гостиную, где он дрыхнул. Сливочник я зажимала в правой руке, размахнулась и ударила его по скуле. Сливочник разлетелся вдребезги.

Ну он, конечно, сразу встrepенулся, Энди. И слышал бы ты его! Заорал? Бог Отец и сыночек Иисус! Ревел, как бык, которому висюльку ворота защемили. Глаза вытаращил, руку к уху прижимает, а между пальцами уже кровь течет. Щека вся в белых брызгах и это мочало, которое он бачками величал, тоже.

– Знаешь что, Джо, – говорю. – Усталость-то мою как рукой сняло.

Тут слышу, Селена с постели соскочила, но оглянуться боюсь. Как раз влипну – он, когда хотел, был как змея быстрый. Топорик я держала в левой руке, опустив так, что он почти был фартуком закрыт. И когда Джо хотел встать с кресла, я топорик приподняла и ему показала.

– Не хочешь, чтоб он у тебя в голове застрял, Джо, так лучше сядь, – говорю.

На секунду мне померещилось, что он решил встать. Тут бы ему и конец пришел, я ведь не шутила. И он это понял – так и застыл с задницей над сиденьем дюймов эдак в пяти.

– Мама? – кричит Селена из двери своей комнаты.

– Ложись, ложись, детка, – говорю, а сама глаз с Джо не свожу. – У нас тут с твоим отцом небольшой разговор.

– Ничего не случилось?

– Да нет, – говорю. – Верно, Джо?

– Угу, – говорит. – Все хорошо.

Я услышала, как она пару шагов назад сделала, только дверь-то ее не сразу стукнула – секунд, может, через десять или через пятнадцать. И я знала, что девочка стоит там и смотрит на нас. Джо так и замер – одной рукой на ручку кресла опирается, а задница висит над сиденьем. Тут слышим – ее дверь закрылась, и Джо, верно, сообразил, какой у него вид дурацкий, и не сел и не встал, вторая рука к уху прижата, а по щеке капли сливок ползут.

Тут он сел и руку от уха отнял. А она вся в крови и ухо тоже – но только рука не распухла, а ухо уже успело.

– Сука! Ну ты получишь! – говорит он.

– Получу? – отвечаю. – Только ты одно запомни, Джо Сент-Джордж: все, что получу, я тебе вдвойне верну.

А он ухмыляется, точно не верит тому, что слышит.

– Ну так, значит, мне тебя убить придется, а?

Он еще договорить не успел, а я ему топорик протягиваю. Даже и не собиралась. Но чуть увидела топорик у него в руке, сразу поняла – ничего

другого сделать я не могла.

– Давай, – говорю. – Только прямо с первого, чтоб мне не мучиться.

Он на меня посмотрел, потом на топорик, а потом опять на меня. Вытаращился – просто смешно, не будь дело таким серьезным.

– А кончишь, так подогрей кастрюльку да и поужинай еще раз, – говорю ему. – Ешь до отвала, потому как попадешь в тюрьму, а я что-то не слышала, чтоб в тюрьме домашним кормили. Думается, для начала отправят тебя в Белфаст. Уж наверняка найдется у них оранжевый костюмчик как раз по тебе.

– Заткнись, дырка, – говорит он.

Как же, жди!

– А после, – говорю, – скорее всего ты угодишь в Шошенк, и я твердо знаю, там еду горячей не подают. И по пятницам тебя не будут отпускать, чтоб ты вечер за покером провел с твоими пивнушными друзьями. А я только одного прошу – чтоб побыстрее и чтоб дети твоей работы не увидели, когда кончишь.

И тут я закрыла глаза. Я была почти уверена, что он этого не сделает, да только от «почти» мало радости, когда дело идет о твоей жизни. Вот что я в тот вечер узнала. Стою с закрытыми глазами, вижу одну черноту и гадаю, каково это будет, когда топорик разрубит мне нос, и губы, и подбородок. Еще помню, я подумала, что перед смертью успею почувствовать вкус щепочек на лезвии. И обрадовалась, что наточила его всего за два-три дня до этого. Уж если он меня убьет, то хоть не тупым топором.

Лет десять я так простояла. А потом он сказал – сварливо эдак и сердито:

– Так ты будешь ложиться или останешься торчать тут, точно Хелен Келлер, которой парень снится?

Открываю глаза и вижу: он топорик под кресло положил – из-под края чехла кончик рукоятки торчал. А газета ему на ноги упала, точно карточный домик. Он нагнулся, поднял ее и встряхнул, будто ничего не случилось – ну совсем ничего, да только по щеке у него текла кровь из уха, а руки чуть-чуть вздрагивали, так что газета шуршала. На первой и последней страницах остались красные отпечатки его пальцев, и я решила сжечь чертову газетенку, прежде чем он ляжет, чтоб дети ее не увидели и не поняли, что что-то было неладно.

– Я лягу, только прежде нам, Джо, нужно до конца разобраться.

Тут он посмотрел на меня и пробурчал сквозь зубы:

– Ты не очень-то, Долорес. Не то как бы тебе не ошибиться. Лучше не

доводи меня.

– А я и не довожу, – говорю. – Только больше ты меня и пальцем не тронешь, вот и все. А попробуешь, так кто-то из нас угодит в больницу. Или в морг.

Он на меня долго смотрел, очень долго. А я на него, Энди. Топорик под креслом лежал, только не в нем дело было. Просто я знала – опущу глаза прежде него, и уж тогда тычкам в шею и охаживаниям по спине конца не будет. Ну под конец он глаза на газету опустил и буркнул:

– Ну чего стоишь без толку. Принесла бы мне полотенце, а то я кровью всю чертову рубашку залил.

И больше он меня никогда не бил. Внутри-то он трус был, понимаете? Хотя этого я ему вслух не сказала – ни тогда, ни потом. Ведь опаснее ничего быть не может, думается мне. Потому как трус больше всего на свете боится, что его раскусят, – даже больше смерти.

Конечно, я знала про его трусость. Да разве бы я рискнула ударить его сливочником, если б не думала, что верх почти наверное останется за мной. И еще. Пока я сидела на стуле и ждала, чтоб мои почки поуспокоились, то поняла: если стерплю на этот раз, то так и буду терпеть до конца своих дней. Ну и сделала то, что сделала.

А знаете, стукнуть Джо сливочником было просто. Но только прежде я должна была раз и навсегда перечеркнуть воспоминания о том, как мой отец отшвырнул маму в угол, как он хлестал ее по ногам мокрой парусиной. Подавить память об этом было трудно, потому как я очень любила их обоих, но я все-таки сумела... может, просто мне ничего другого не оставалось. И я рада, что сумела, – хотя бы из-за того, что Селене не придется вспоминать, как ее мать сидела в углу и плакала, укрывшись посудным полотенцем. Мама со всем смирялась, но я их обоих не сужу. Может, она только и могла, что смиряться, и, может, он иначе не мог, чтоб не стать посмешищем мужчин, с которыми каждый день работал. Тогда времена были другие – мало кто понимает, насколько другие, но из этого не следовало, что я должна смиряться с побоями Джо только потому, что по дурости вышла за него. И какое же это домашнее учение, если мужчина колотит женщину кулаками или поленом? Вот я и решила, что не смирюсь с таким, будь то хоть Джо Сент-Джордж, хоть кто другой.

Случалось, что он руку заносил на меня, но передумывал. Иногда, когда он поднимал руку, хотел ударить, да не смел, я по его глазам видела, что он вспоминает сливочник... а может, и топорик. И тут же делал вид, будто хотел в затылке почесать или лоб утереть. Это был первый урок, который он хорошо запомнил сразу. Да только, выходит, единственный.

И еще одно принес тот вечер, когда он стукнул меня полешком, а я стукнула его сливочником. Говорить-то об этом мне не хочется – я же из тех людей старых правил, которые считают, что нечего из спальни сор выносить. Да что же делать? Возможно, это тоже часть причины, почему все обернулось, как обернулось.

Хотя мы были женаты и еще два года прожили под одной крышей – а может, и почти три, не помню уже, – но он своим правом мужа после этого только пару раз пытался воспользоваться. Он...

Что, Энди?

Да, конечно, я хочу сказать, что он был импотент! О чем бы еще я могла говорить? О его праве носить мое нижнее белье, взбреди это ему в голову? Я ему не отказывала, просто у него ничего не получалось. Он был не из еженощных мужчин, так сказать, – даже в самом начале, и не из тех, кто растягивает, а чаще всего – бим, бам, спасибо мадам. Но все ж таки на пару раз в неделю у него интереса хватало... то есть пока я его не саданула сливочником.

Отчасти, может, повинно и спиртное – он в последние эти годы пил куда крепче, но не думаю, что только из-за этого. Помню, как-то ночью он сполз с меня после двадцати минут пустого пыхтения и кряхтения, а его штучка все так же болталась, точно макаронина. Не скажу, сколько времени прошло с того вечера, про который я вам рассказала, но точно знаю, что уже после него, потому как почки у меня ныли и дергались, и я еще думала, что скоро придется мне встать и проглотить таблетки, чтоб их утихомирить.

– Ну вот, – говорит он, чуть не плача. – Ну как, Долорес, ты довольна, а? Довольна?

А я молчу. Бывает, что бы женщина мужчине ни ответила, все будет против шерсти.

– Ну как? – говорит он. – Так ты довольна, Долорес?

А я все молчу, лежу, гляжу в потолок, слушаю ветер снаружи. Восточный он был и нес шум океана. Я этот звук всегда любила. Он меня успокаивает.

Он повернулся на бок и дыхнул мне в лицо кислым пивным перегаром.

– Прежде помогало свет погасить, – бормочет он, – а теперь уже нет. Я твою безобразную рожу и в темноте вижу. – Протянул руку, ухватил меня за сиську и вроде как потряс. – А это что? – говорит. – Дряблая и плоская, точно оладья. А уж дырка твоя и того хуже. Черт, тебе же еще и тридцати пяти нет, а трахать тебя, как раскисшую глину.

Я уж думала ответить: «В раскисшую-то глину, Джо, ты бы его и мягкий воткнул, и вот бы тебе полегчало!» – но промолчала. Патриция

Клейборн дур и дураков не растила, еще раз повторю.

Тут он замолчал, и я было решила, что он столько гадостей наговорил, что сам себя убаюкал, и хотела уже встать за таблетками, но тут он опять заговорил... и уж на этот раз точно плакал.

– Чтоб мне тебя никогда не встречать, Долорес, – сказал он. А потом сказал: – И чего ты просто не отхватишь его чертовым твоим топором? А, Долорес? Ведь на поверку то же самое вышло бы.

Так что видите, не только я думала, что к его затруднениям может и сливочник отношение иметь... и мои слова, что с этого вечера в доме все по-другому пойдет. Ну я все равно молчу, но жду, заснет он или попробует опять кулаками поработать. Ну да он голый лежал, и я уже знала, куда ударю, чуть он попытается. Потом слышу – захрапел. Точно не скажу, что это был последний раз, когда он пытался быть со мной мужчиной, ну да если не последний, так почти.

Конечно, никто из его приятелей про это ничего не знал – уж конечно, он бы и словечком не заикнулся, что жена так его стукнула сливочником, что его хорек больше головы поднять не смел, верно? Он-то? Да никогда! А потому, когда другие расписывали, как они своих жен в узде держат, он от них не отставал и расписывал, как он мне выдал, чтоб я язык не распускала, или что я новое платье в Джонспорте купила, не спросив его позволения взять деньги из сахарницы.

Откуда я знаю? Да потому что бывает, я не столько говорю, сколько слушаю. Понимаю, не так просто этому поверить, пока я тут целую речь держу, и все-таки это чистая правда.

Вот помню, когда я у Маршаллов работала... Энди, помнишь Джона Маршалла? Как он всегда хвастал, что построит мост с острова на материк? Так, значит, вдруг звонок в дверь. А я в доме одна. Ну побежала я открывать, поскользнулась на коврике и ударилась об угол камина. И на руке повыше локтя такой синячище разлился!

Ну дня через три, когда синяк из темно-коричневого стал желтовато-зеленым, я в поселке встретила Иветту Андерсен. Она из бакалеи выходила, а я как раз туда свернула. Поглядела она на мой синяк, и голос у нее, когда она заговорила, ну просто медовым стал от сочувствия.

– Мужчины, Долорес, – говорит, – просто жуть что такое, верно?

– Бывает так, а бывает и эдак, – отвечаю. Я ж понятия не имела, о чем она говорит, а думала, как бы не упустить свиные отбивные, которые в этот день шли со скидкой.

Она так ласково меня по руке гладит – той, что без синяка, – и говорит:

– Крепись, – говорит. – Все оборачивается светлой стороной. Я буду

молиться о тебе, Долорес, – говорит, да так, словно обещает мне миллион долларов подарить, и идет себе дальше по улице. Я б подумала, что она с ума свихнулась, да только всякий, кто с Иветтой словечком перекинется, сразу понимает, что свихиваться-то ей не с чего.

Значит, покупаю я отбивные, и тут до меня доходит. Стою, смотрю, как Скиппи Портер мои отбивные взвешивает, на руке у меня корзинка висит, а я голову откинула и как захохочу – словно из самого нутра, как бывает, когда ничего с собой поделать не можешь. Скиппи оглянулся на меня и говорит:

– Вам что, плохо, миссис Клейборн?

– Очень хорошо, – отвечаю. – Просто про смешное вспомнила! – И снова залилась.

– Оно и видно, – говорит Скиппи и отворачивается к весам. Да благословит Портеров Бог, Энди! Пока они живы, есть на острове хоть одна семья, которая нос в чужие дела не сует. А я все хохочу. Другие покупатели на меня оглядываются, словно я спятила. А мне все равно было. Иногда жизнь чертова до того смешной бывает, что ну никак не удержишься!

Иветта ведь замужем за Томми Андерсеном, а Томми был среди приятелей Джо, с кем он пиво попивал и в покер играл на исходе пятидесятих и в начале шестидесятих. Через день-два, как я руку расшибла, вся их компания к нам заявила опробовать последнюю покупку Джо – фордовский пикапчик по дешевке. А это был мой выходной, и я вынесла им кувшин чая со льдом – авось они тогда ничего крепче пить не станут, хотя бы до заката.

Видно, Томми заприметил синяк, когда я чай разливала. И может, спросил про него у Джо или просто упомянул. Так или иначе, но Джо Сент-Джордж не такой был человек, чтоб удобный случай упустить – то есть такой случай. Когда я домой возвращалась, мне только одно любопытно было: как Джо объяснил Томми и всем им, в чем я провинилась. Забыла его шлепанцы у плиты поставить, чтоб они к его приходу согрелись, а то в субботу вечером фасоль переварила. Так или не так, а Томми пришел домой и рассказал Иветте, что Джо Сент-Джордж должен был проучить жену по домашнему. А я-то всего только об угол маршаллского камина ударилась, когда бежала дверь отворить!

Вот я что подразумевала, когда сказала, что у брака есть две стороны – внешняя и внутренняя. На острове люди считали нас с Джо обычной супружеской парой в наших годах – не слишком счастливыми, да и не слишком несчастными, а так... двумя лошадьми в одной упряжке... знай налегают на постромки. Может, они уже не смотрят друг на друга, как

прежде, и, может, не ладят друг с другом, как прежде, но запряжены они бок о бок и трусят себе по дороге, стараются, как могут, друг друга не кусают, нарочно не спотыкаются и ничего такого не делают, за что кнут полагается.

Но люди-то не лошади, а семейная жизнь – не фургон, который тянут в упряжке, пусть снаружи так иной раз кажется. На острове люди не знали про сливочник, не знали и о том, как Джо заплакал в темноте и сказал, чтоб ему никогда моей рожи не видеть бы. Да это-то было еще не самое худшее. Худшее началось через год, после того как мы с постелью кончили. Странно, как люди вроде бы все видят, а причину толкуют прямо наоборот. Только как же иначе, если не забывать, что обычно брак снаружи и брак изнутри не очень-то похожи. И теперь я вам расскажу, каким наш брак был внутри, а до этого дня я думала, что так все скрыто от посторонних и останется.

Вспоминая, я думаю теперь, что беда эта пришла в шестьдесят втором. Селена как раз поступила в школу на материке, а выросла она очень хорошенькой. И помню, что летом после первого года в этой школе она начала ладить с отцом куда лучше, чем прошлые два года. Я-то опасалась, что она, как из детства выйдет, все чаще начнет возмущаться его понятиями да властью, какую он над ней имел, как привык считать, и пойдут у них стычки.

А вместо этого между ними вдруг наступила коротенькая пора мира, спокойствия и добрых чувств: она выходила к нему во двор, когда он со своим драндулетом возился, или садилась возле него на диван, когда мы вечером телевизор смотрели (Мальшу Питу это не очень-то по вкусу было, можете мне поверить), и под рекламу расспрашивала его, как у него день прошел. А он ей отвечал. Спокойно, вдумчиво – не как мне. Хотя мне вспоминалось... в старшем классе школы, когда мы только с ним толком познакомились и он решил, что да, за мной стоит поухаживать.

И пока с отцом у нее налаживалось, от меня она начала отдаляться. Нет, работу по дому, какую я ей поручала, она делала и про школу мне тоже рассказывала... если я из нее ответы клещами тащила. Холодность какая-то появилась, какой прежде не было, и только потом стало мне ясно, как все одно к одному увязывалось и восходило к той ночи, когда она вышла из своей спальни и увидела нас – как ее отец прижимает руку к уху, а между пальцами кровь струится, а ее мать стоит над ним с топором.

Он был не из тех, кто упускает удобный случай, я вам уже говорила, и не упустил. Томми Андерсону он одно наплел, а своей дочери совсем другое – церковь-то та же, да скамья не та. Думается, вначале в нем только

злость говорила, просто хотел свести со мной счеты: он знал, как я люблю Селену, ну и сообразил, что внушить ей, до чего я подлая, а то и опасная, будет хорошей мстью. Хотел настроить ее против меня, и хоть это у него до конца не вышло, сумел-таки стать ей куда ближе, чем был с тех пор, как она из пеленок вышла. И удивляться нечему. У нее всегда сердечко нежное было, у Селены то есть, а другого такого умельца жалость к себе вызывать, как Джо, я в жизни не встречала.

Он к ней подобрался и вот тут, наверное, и заметил, до чего она хорошенькой стала, да и решил, что ему мало, чтоб она только слушала, как он языком чешет, или подавала ему инструменты, пока он копается в моторе грузовика-развалюхи. Все это происходило и менялось, пока я надрывалась, в четырех местах работала и старалась, чтоб после уплаты по счетам каждую неделю хоть что-то отложить на уплату за образование детей в колледже. И чуть не проморгала.

Она веселой была, моя Селена, большая болтушка и всегда старалась помочь. Пошлешь ее за чем-нибудь, она не идет, а бежит. Когда подросла, начала стол к ужину накрывать, если меня дома не было, – и всегда сама, без напоминаний. Сначала у нее, случалось, подгорало что-нибудь, так Джо орал на нее или шуточки отпускал – сколько раз она к себе в комнату убегала вся в слезах, – но к тому времени, про которое я вам рассказываю, он эти свои замашки бросил. Тогда, весной и летом шестьдесят второго, он любой ее пирог хвалил, точно амброзию, пусть даже корка потверже цемента была, а от ее мясной запеканки просто с ума сходил – ну произведение лучшей французской кухни, да и только! А она его похвалам радовалась – да и кому бы приятно не было? – но не зазнавалась. Не такая она была. Но одно я вам скажу: когда Селена из дому навсегда уехала, она в самый свой неудачный день готовила лучше, чем я – в самый мой удачный.

И уборка по дому... лучше дочери ни у одной матери не было, а уж тем более у матери, которая почти все свое время за чужими людьми убирала. Когда утром Джо Младший и Малыш Пит в школу шли, Селена всегда следила, чтоб у них с собой завтраки были, а в начале учебного года все книжки им обертывала. Джо Младший, конечно, и сам бы мог, но она ему не позволяла.

А после ее первого года в школе на материке она была занесена в список лучших учеников, но интереса к домашним делам не потеряла – не то что некоторые из школьных умников. Ведь в тринадцать-четырнадцать лет подростки обычно всех, кто старше тридцати, зачисляют в старые хрычи и просто из дому бегут, стоит старым хрычам домой вернуться. А вот Селена – никогда. Кофе им сварит, или посуду поможет перемыть, или

еще чего-нибудь, а потом сидит у печки и слушает, о чем взрослые разговаривают. Ну там я с одной-двумя приятельницами или Джо с тремя-четырьмя дружками – она сидит и слушает. Оставалась бы даже, когда они за покер садились, позволь я ей. Только я не позволяла: уж очень гнусно они ругались. Эта девочка вгрызалась в разговор, как мышь – в сырную корку, и чего съесть не могла, про запас прятала.

А потом она изменилась. Не знаю точно, когда начались эти перемены, а я заметила, когда у нее второй учебный год начался. Ну к концу сентября.

Сначала я заметила, что она перестала возвращаться домой на раннем пароме, как в прошлом учебном году, хотя ей это было очень удобно: успевала сделать уроки у себя в комнате до возвращения мальчиков, а потом в доме немножко убраться или ужин состряпать. А теперь она ездила не на двухчасовом, а на том, который уходит из Джонспорта в четыре сорок пять.

Я ее спросила, почему так, а она ответила, что ей удобнее делать уроки в классе после занятий, только и всего, а сама странно так на меня посмотрела, будто больше не хотела про это говорить. Мне в ее глазах померещился стыд и еще неправда. Я встревожилась, но решила больше ее не допрашивать, разве что наверняка узнаю, откуда ветер дует. Разговаривать с ней стало трудно, понимаете? Я чувствовала, что между нами холод появился, и догадывалась, с чего все пошло: Джо из кресла приподнялся, весь в крови, а я над ним с топориком стою. Тут-то до меня и дошло, что он, конечно, с ней про это разговаривал, да и о разном другом тоже. Освещал по-своему, так сказать.

Я боялась, что вот начну Селену допекать, почему она в школе задерживается, и отношения у нас совсем уж скверными сделаются. Я и так и эдак прикидывала, как бы мне ее побольше расспросить, но любой вопрос звучал, словно: «Какими ты, Селена, шашнями занимаешься?» А уж если он таким казался мне, тридцатипятилетней женщине, что подумала бы девочка, которой еще пятнадцати не сравнялось? С детьми в этом возрасте тяжело разговаривать: ходишь вокруг них на цыпочках, будто на полу банка с нитроглицерином стоит.

Ну как занятия начались, скоро в школе устроили родительский вечер, и уж я постаралась на него попасть. С классной руководительницей Селены я миндальничать, как с Селеной, не стала, а подошла и напрямик спросила, не знает ли она, по какой причине Селена после уроков теперь на позднем пароме уезжает. А она ответила, что не знает, но, думается ей, Селене так проще делать домашние задания. Ну, подумала я (но вслух не сказала), в прошлом-то году она их прекрасно делала за столиком у себя в комнате, так

что изменилось? Я бы и сказала так, если б думала, что у учительницы найдется ответ, да только ясно было, что она ничего не знает. Черт, наверняка тут же за дверь выскакивала, чуть звенел звонок с последнего урока.

От других учителей я тоже ничего полезного не узнала. Только слушала, как они Селену до небес расхваливают – это уж мне никакого труда не составило, а потом поехала домой несолоно хлебавши.

На пароме я села в каюте у окошка и смотрела на девочку с мальчиком у перил снаружи. Они были немногим старше Селены, держались за руки и смотрели, как над океаном восходит луна. Он повернулся к ней, сказал что-то, и она засмеялась. Дурак ты будешь, сыночек, подумала я, если упустишь такой шанс. Но он не упустил, а наклонился к ней, взял ее за другую руку да как влепит ей поцелуй. Господи, ну и дура же ты, сказала я себе, глядя на них. Либо дура, либо совсем старухой стала и не помнишь, что такое пятнадцать лет, когда каждый нерв у тебя в теле брызжет искрами, точно бенгальский огонь, весь день и почти всю ночь. Селена нашла себе мальчика, только и всего. Вот-вот! И наверняка они вместе делают уроки в классе после конца занятий. И больше друг на дружку смотрят вместо учебников, это как пить дать. И так мне сразу легко стало, уж поверьте.

Следующие дни я все время над этим раздумывала... Что ни говори, а когда стираешь простыни, гладишь рубашки и пылесосишь ковры, времени, чтоб думать, у тебя хватает. И чем больше я думала, тем тяжелее мне становилось. Во-первых, ни о каком мальчике она и не заикнулась, а Селена не очень-то скрытничала про свою жизнь. Она уже не была такой откровенной и доверчивой со мной, как раньше, но и стены молчания между нами не было. И сверх того, я всегда считала, что Селена, чуть влюбится, сразу об этом объявление в газету даст.

Главным... и страшным было то, какими мне виделась ее глаза. Я всегда замечала, что у девочки, когда она влюбляется в мальчика, глаза сияют так, будто за ними фонарик включили. А в глазах Селены этого сияния я не находила... но плохо-то было не это. Свет, прежде в них сиявший, погас – вот что было плохо. Смотреть в ее глаза было, как смотреть в окна дома, откуда люди ушли, а опустить шторы позабыли. Вот это-то и открыло мне глаза в конце концов, и я начала замечать очень много такого, что следовало заметить куда раньше, да и заметила бы, не будь я занята с утра до вечера и не внуши себе, будто Селена злится на меня, что я тогда поранила ее папочку.

Первое, что я теперь обнаружила, – она не только от меня отдалилась,

а и от Джо тоже. Перестала выходить к нему поболтать, когда он во дворе чинил свой хлам или подвесной мотор кого-нибудь из соседей, и вечером не садилась рядом с ним смотреть телевизор. Если и оставалась в гостиной, так садилась в качалку у печки с вязаньем на коленях. Да чаще-то она сразу уходила к себе в комнату и дверь запирала. Джо не злился, да и вообще будто не замечал ничего: просто опять теперь садился в свое кресло и держал Малыша Пита на коленях, пока мальчику не приходило время ложиться.

А еще ее волосы – она перестала мыть их каждый день, как раньше. Иногда они такими жирными выглядели, что хоть яичницу на них жарь, и это совсем на Селену похоже не было. Цвет лица у нее всегда был просто прелесть – персиковый цвет со сливками, который, думается, достался ей по линии Джорджа, – но в этом октябре на лице у нее прыщики высыпали, ну как одуванчики на лугу по весне. Румянец вовсе пропал и аппетит тоже.

Она все еще ходила к своим подружкам, Тане Кэрон и Лори Лэнджил, но куда реже, чем в прошлом году... И тут я сообразила, что Таня и Лори ни разу к нам не заглянули с начала нового учебного года... и в последний месяц летних каникул вроде бы тоже. И тут, Энди, я перепугалась и начала приглядываться к моей умнице девочке. И увидела такое, от чего напугалась еще больше.

Ну, например, что одежда на ней стала другой – то есть не новый свитер вместо прежнего или там юбка вместо платья, а весь стиль. И перемена была много к худшему. В школу она больше платьев не надевала, а только широченные свитера, и все они были ей велики, так что выглядела она толстухой, а чего не было, того не было.

Дома теперь она носила широкие обвислые фуфайки, – они ей до колен доставали, – и всегда в джинсах и сапожках. Голову замотает страшным шарфом – это когда она из дому выходила. И таким широким, что он ей на лоб сползал, так что глаза у нее из-под него выглядывали, точно два зверька из норы. Смахивала она на озорного мальчишку, только я-то помнила, что она вроде со всем таким распростилась, когда ей тринадцать стукнуло. А как-то вечером, когда я к ней в комнату вошла, а постучать забыла, она чуть ноги не переломала, сдергивая халатик с дверцы гардероба. И ведь в комбинации была, голую задницу напоказ не выставляла или еще что.

Но самое скверное – она почти говорить перестала. Не просто со мной – при таких наших с ней отношениях это бы я поняла. Но она со всеми теперь больше отмалчивалась. Сидит за ужином, голову опустит, и челка, которой она теперь обзавелась, на глаза ей падает, а когда я попробую с ней

заговорить, спрошу, как у нее день в школе прошел или еще что-нибудь такое, ничего, кроме «угу» и «мммм», не услышу, а раньше-то угомону ей не было. Джо Младший тоже пробовал и на ту же каменную стенку натыкался. Порой взглянет на меня, озадаченно так, а я только плечами пожму. А чуть ужин кончится и посуда перемыта – шась за дверь и наверх к себе в комнату.

И, Господи прости мне, чуть я перестала думать, что это мальчик, так сразу согрешила на марихуану... Энди, нечего смотреть на меня так, будто я не знаю, что говорю. В те дни их так и называли – «сигаретки» или марихуана, а не «травка», как теперь, но снадобье было то же самое, и когда цены на лангуст падали, очень даже многие люди на острове с радостью им приторговывали... да и когда не падали. В те времена сигаретки поступали с прибрежных островов, как и сейчас, для переправки дальше, но часть оставалась здесь. Кокаина, слава Богу, еще в заводе не было, а вот если тебе хотелось «травку» покурить – пожалуйста. Марка Бенуа береговая охрана арестовала как раз в то лето – в трюме «Радости Мэгги» нашли четыре ее тюка. Может, потому я про «травку» и подумала, но даже теперь, когда столько лет прошло, я все еще дивлюсь, как я умудрилась такие сложности нагородить, когда правда-то была проще простого. Настоящая причина сидела напротив меня за столом каждый вечер, чаще давно немытая и небритая, а я только гляжу на него, на Джо Сент-Джорджа, первого на Литл-Толле мастера на все руки, да только косорукого, и думаю, а вдруг моя умница девочка за школьной мастерской после уроков сигаретки покуривает? А я еще твержу, что моя мать дур не растила! О Господи!

Меня так и подмывало пойти к ней в комнату да обшарить гардероб и ящики комода, но потом мне за себя противно стало. Про меня, Энди, много чего наговорить можно, но подглядывать да обыскивать – это не по мне. Но оттого, что мне такое втемяшилось, я вдруг сообразила, что слишком много времени потратила, просто ползая у краев происходящего, чем бы оно ни было, да надеялась, что все само собой уладится, а то и Селена вдруг сама со мной поделится.

Потом пришел день (перед кануном Всех Святых, потому как Малыш Пит повесил бумажную ведьму в окне прихожей), когда я обещала после обеда пойти к Стрейхорнам, чтоб с Лайзой Мак-Канделс перевернуть ихние шикарные персидские ковры – это полагалось делать каждые полгода, чтоб они не выцветали или, наоборот, чтоб выцветали, или еще какая-нибудь чертова глупость. Надела я пальто, застегнула на все пуговицы и уже к двери пошла, как тут вдруг подумала: да куда же это ты в

осеннем пальто, балбеска? Там же теплынь, настоящее индейское лето. А тут другой голос заговорил: на проливе-то похолодней будет, градусов эдак на пять. А сырость? И поняла я, что к Стрейхорнам сегодня не пойду, а поеду на пароме в Джонспорт и поговорю с моей дочерью начистоту. Позвонила Лайзе, сказала, что ковры как-нибудь в другой день перевернем, и пошла к пристани. Только-только успела на два пятнадцать. Не успею я на него, так и с ней бы не встретилась, и кто знает, как бы все тогда обернулось?

С парома я первой сошла – они еще только набрасывали последнюю чалку на последнюю тумбу – и прямо пошла к школе. По дороге мне подумалось, что в классе я ее не найду, что б там она и ее руководительница ни говорили, что будет она все-таки позади мастерской со всяким хулиганьем... все ржут, тискаются, а может, и пустили вкруговую бутылку с дешевым вином в бумажном пакете. Если вы сами в такое положение не попадали, так ничего не поймете, а объяснить я не могу. Одно скажу: нет такого способа, чтоб подготовиться к тому, что у тебя сердце разорвется. И выхода нет – только вперед идти да надеяться, что все-таки без этого как-нибудь обойдется.

Но когда я открыла дверь класса и заглянула, она-таки была там, сидела у окна, наклонившись над учебником алгебры. Меня она не сразу заметила, и я стояла там, смотрела на нее. В дурную компанию она не попала, зря я боялась, но все равно сердце у меня чуть надорвалось, Энди, потому как похоже было, что у нее вообще никакой компании нет, а это, может, куда хуже. Ее-то учительнице, может, и вправду казалось, что нет ничего дурного в том, как девочка после уроков занимается одна в пустом классе, и что это даже очень похвально, только я-то ничего похвального в этом не видела, да и здорового тоже. С ней ведь даже не было таких, кого за нерадивость или за плохое поведение после уроков оставили, – их в библиотечный зал отсылали.

Ей бы с подружками пластинки слушать или о мальчике вздыхать, а она сидит тут в пыльном косом солнечном луче, в запахе мела и мастики, а еще – противных рыжих опилок, которыми пол присыпают, чуть ребята уйдут, – сидит, так низко наклонившись над книжкой, будто там спрятаны все тайны жизни и смерти.

– Добрый день, Селена, – говорю, а она вскинулась, как кролик, и половину учебников на пол смахнула, оглядываясь, кто это с ней здороваются. А глаза такие огромные, что добрую половину лица заняли, а лоб и щеки белее пахты в белой чашке. То есть там, где прыщички не высыпали, а они багровели, будто ожоги.

Тут она увидела, что это я. Страх прошел, но улыбкой не сменился: у нее на лице будто крышка захлопнулась... или, скажем, она в замке была и сразу подняла подъемный мост. Да, вот так. Вы поняли, о чем я?

– Мама! – говорит она. – Что ты тут делаешь?

Я чуть не ответила: «Приехала проводить тебя домой на пароме и поговорить с тобой по душам, деточка моя милая!» Но чувствую, нельзя об этом тут, в классе – в пустой комнате, где чувствую, до чего ей неладно, ну просто нутром чую, как запах мела и рыжих опилок. Нет, думаю, узнаю во что бы ни стало. И так, вижу, я с этим затынула. Про наркотики уже не думаю. Но что бы это ни было, оно оголодало. Ело ее заживо.

А ей я сказала, что решила дать себе после обеда роздых, поехать сюда походить по магазинам, но ничего себе по вкусу не нашла.

– Ну и подумала, может, вернемся домой вместе, Селена, – говорю. – Ты не против?

Тут она наконец улыбнулась. Да я б тысячу долларов за эту улыбку заплатила, уж поверьте... За улыбку только для меня одной.

– Конечно, нет, мамочка, – отвечает. – Вдвоем будет веселее.

Ну спустились мы вместе к пристани, а когда я ее про занятия спросила, она мне нарасказала больше, чем за все прошлые недели. Если не считать того первого взгляда, когда она поглядела на меня, точно кролик в ловушке – на кота, девочка почти прежней стала, и я приободрилась.

Ну Нэнси, может, и не знает, как мало народу ездит паромом четыре сорок пять до Литл-Толла и Дальних островов, но вы с Фрэнком, Энди, сами знаете. Те, кто работает на материке, а живет на островах, возвращаются на пароме пять тридцать, а четыре сорок пять больше почту возит, заказы по каталогам и продукты для лавок. И потому, хоть день был по-осеннему чудесный – совсем не такой холодный и сырой, как я опасалась, на корме на палубе мы с ней были почти одни.

Постояли там, посмотрели, как след, расширяясь, тянется к материку. Солнце уже к западу клонилось, и по воде бежала золотая дорожка, а след ее разбивался будто на золотые осколки. Когда я маленькой была, отец мне говорил, что это самое настоящее золото и что русалки иногда выныривают его собирать. Он говорил, что осколочками вечернего солнца они кроют свои волшебные подводные замки, точно черепицей. И я, всякий раз как видела такую разбитую золотую дорожку, обязательно русалок в воде высматривала и уж почти ровесницей Селены была, а все верила, что такое бывает: мне же отец рассказал!

Вода была такой густо-синей, какую только в тихие октябрьские дни и увидишь, и шум машины прямо убаюкивал. Селена развязала шарф на

голове, вскинула руки и засмеялась.

– Красиво, ма, верно? – спросила она.

– Да, – говорю. – И ты тоже красивой была, Селена. Почему ты изменилась?

Она смотрит на меня, и будто у нее сразу два лица – верхнее недоумевающее и будто смеется... а под ним настороженное такое, недоверчивое выражение. И в этом спрятанном лице я увидела все, что Джо успел ей наговорить за эту весну и лето, прежде чем она и от него шарахнулась. «Нет у меня друзей, у меня никого нет!» – сказало мне это спрятанное лицо. И уж, конечно, не ты и не он! И чем дольше мы глядели друг на дружку, тем яснее проступало наружу это лицо.

Она перестала смеяться, отвернулась и уставилась на воду. Очень мне скверно стало, Энди, но только я пренебрегла, как позднее не спускала Вере ее пакости, как ни грустно все это было, если заглянуть поглубже. Как ни верти, а приходится нам быть жестокими, чтоб доброе дело сделать, – вот как врач делает укол ребенку, хоть и знает, что малыш расплачется и не поймет, что это для его же пользы. Заглянула я в себя и поняла, что могу быть вот такой жестокой, если другого выхода нет. В ту минуту я совсем перепугалась, да и сейчас мне не очень по себе. Как-то страшно знать, что ты способна быть такой безжалостной, какой надо, и не колебаться, а потом не вспоминать и не жалеть о том, что сделала.

– Не понимаю, о чем ты, мам, – сказала она, но поглядела на меня ох как настороженно.

– Ты изменилась, – говорю я. – И лицо, и как ты одеваешься, и как ведешь себя. И по всему этому я вижу, что с тобой что-то стряслось.

– Да нет, все у меня нормально, – говорит она, а сама пятится от меня. Ну я и ухватила ее за руки, пока не поздно.

– Нет, стряслось, – говорю. – И мы с парома не сойдем, пока ты мне не объяснишь, в чем тут дело.

– Да ничего же! – кричит она и старается вырвать руки, ну да я крепко их держала. – Ничего не стряслось! Пусти меня! Да пусти же!

– погоди, – говорю. – В какую бы беду ты ни попала, Селена, я тебя буду любить все так же, а вот помочь тебе не сумею, пока ты мне толком не объяснишь, в чем дело.

Тут она перестала вырываться и только смотрела на меня. А я увидела третье лицо под верхними двумя – хитренькое, жалкое лицо, которое мне не слишком понравилось. Если не считать цвета лица, Селена в мою семью пошла, но в ту минуту она стала похожа на Джо.

– Сперва ты мне ответь! – говорит она.

– Отвечу, – говорю. – Если смогу.

– Почему ты его ударила? – спрашивает она. – Почему ты его тогда ударила?

Я было открыла рот, чтоб спросить: «Когда – тогда?» – просто, чтоб несколько секунд на размышление выиграть, и вдруг, Энди, поняла... не спрашивай как – может, осенило меня или там женская интуиция, как пишут, а то просто заглянула в мысли моей дочери, уж не знаю, – да только поняла, что чуть запнусь – и потеряю ее. Может, только на этот день, а может, и навсегда. Ну всем нутром почувствовала и ответила напрямик:

– Потому что он до этого ударил меня поленом по спине, – сказала я. – Чуть почки мне не отбил. Ну я и решила, что больше такого не позволю. Никогда.

Она заморгала – ну как моргаешь, когда тебе к самому лицу руку сунут, и губы у нее раскрылись в большое такое удивленное «О!».

– Тебе он не то говорил, верно?

Она только головой мотнула.

– Так что он сказал? Из-за того, что он за воротник закладывал?

– Да. И еще из-за покера, – отвечает, да так тихо, что не расслышать. – Он сказал, что ты не хочешь, чтобы другим было весело. Вот почему ты не хочешь, чтобы он играл в покер, и почему в прошлом году ты непустила меня на вечеринку к Тане с ночевкой. Он сказал, что ты хочешь, чтобы все работали по восемь часов в день, как ты сама. А когда он начал тебя уговаривать, ты ударила его сливочником до крови и пообещала отрубить ему голову, если он еще раз пикнет. Дождешься, когда он уснет, и отрубишь.

Знаешь, Энди, я б засмеялась, да только уж очень это жутко было.

– И ты ему поверила?

– Не знаю, – сказала она. – Топор этот так меня напугал, что я даже думать боялась и не знала, чему верить.

Она точно ножом по моему сердцу прошлась, но я не выдала себя.

– Селена, – говорю, – он тебе неправду сказал.

– Оставь меня в покое! – говорит она, отшатывается от меня и опять глядит, как перепуганный кролик. И тут мне ясно стало, что скрывает она что-то не из стыда или неловкости, а потому что напугана до смерти. – Я сама разберусь! Не нужна мне твоя помощь! Оставь меня в покое, и все!

– Ты не можешь разобраться сама, Селена, – говорю я таким тихим, ласковым голосом, каким успокаивают жеребенка или ягненка, когда он в колючей проволоке запутается. – Если бы могла, так уже разобралась бы. А теперь послушай меня. Мне очень грустно, что ты видела меня с топориком

в руке, из-за всего грустно, что ты видела и слышала в ту ночь. Знай я, как это тебя напугает и измучает, я бы пальцем его не тронула, как бы он меня ни доводил.

– Ну перестань! – говорит она, вырывает у меня руки и затыкает ладонями уши. – Не хочу ничего больше слушать! И не буду!

– Перестать я не могу, – отвечаю, – потому как все, что было, прошло и ничего изменить нельзя. А вот это – можно еще. Так позволь мне помочь, родная. Прощу тебя! – Я хотела обнять ее и притянуть к себе.

– Нет! Не смей меня бить! Не смей меня трогать, стерва! – закричала она, откинувшись, наткнувшись на перила, и я уж думала, что она опрокинется через них в волны. Сердце у меня остановилось, но руки, слава Богу, нет. Я успела ухватить ее за пальто и оттащить. А тут сама поскользнулась на мокрой палубе и чуть не упала. Но все-таки на ногах удержалась, а когда подняла голову, она вывернулась и хлопнула меня по щеке.

Я даже не заметила, а схватила ее опять и обняла. В такие минуты на девочку в возрасте Селены не обижаешься – понимаешь: того, как с ней прежде было, уже не вернуть никогда. Да и пощечина-то боли никакой не причинила. Я только спаниковала, что потеряю ее – и не просто мое сердце ее лишится. На секунду я будто увидела, как летит она через перила головой вниз. Как вживе. Еще чудо, что волосы у меня не поседели.

Тут она заплакала, попросила прощения, сказала, что не хотела меня ударить, что это нечаянно вышло, а я ответила, что знаю.

– Помолчи-ка, – говорю я, а она в ответ такое сказала, что я просто в лед превратилась.

– Почему ты мне помешала упасть, мамочка? Почему ты мне помешала упасть?

Я ее отодвинула на длину руки – мы уже обе плакали – и бормочу:

– Да как же иначе, деточка? Чтоб я допустила...

А она мотает головой:

– Мамочка, я больше не могу терпеть... Не могу. Я такой грязной себя чувствую и совсем запуталась. И как ни стараюсь, не могу стать спокойной, а веселой и вовсе.

– Да что же это? – спрашиваю, и опять мне от страха холодно стало. – Что это, Селена?

– Скажи я, – отвечает, – ты сама меня за борт выкинешь.

– Не выдумывай, – говорю. – И я тебе еще одно скажу, родная: ты на берег не сойдешь, пока все мне не расскажешь. Если для этого придется до конца года взад-назад на пароме кататься – так вот и будем... Хотя, думается, уже к концу ноября в лед превратимся, если прежде не уморим

себя отравой, которой в здешнем дерьмовом буфетике торгуют.

Я думала, она засмеется, а она только голову наклонила, уставилась в палубу и сказала что-то совсем уж тихо. За ветром и шумом мотора я толком не расслышала.

– Что ты сказала, деточка?

Она повторила, и тут я расслышала, хоть она голоса почти не повысила. Тут я сразу все поняла, и с этой секунды дни Джо Сент-Джорджа были сочтены.

– Я ничего этого не хотела. Он меня заставлял. – Вот что она сказала.

Я как окаменела, а когда протянула к ней руки, она отпрянула. Лицо блее мела. А тут паром – «Принцесса Островов», старая посудина, – как качнется! Под ногами у меня скользко было, и я своей старой костлявой задницей здорово приложилась бы, да только Селена ухватила меня поперек живота. Тут уж я ее обняла, и она расплакалась у меня на груди.

– Идем, – говорю, – сядем вон там. Полетали мы от борта к борту, и будет, верно?

Побрели мы к скамье у кормового трапа, обнявшись, подошвами шаркаем, будто калеки. Не знаю, чувствовала себя Селена калекой или нет, а я так чувствовала. У меня только из глаз покапало, а Селена так рыдала, что казалось, у нее все внутренности вот-вот оборвутся, если она с собой сейчас не совладеет. А я все-таки радовалась, что она вот так плачет. Я ведь только, когда услышала, как она рыдает, увидела, как слезы у нее по щекам катятся, я только тогда поняла, что в ней все чувства поугасли, точно свет в глазах, спрятались куда-то, как ее фигурка в бесформенной одежде. Конечно, лучше бы я услышала от нее не рыдания, а смех, но и на том спасибо было.

Сели мы на скамью, и я дала ей еще поплакать. Она поутихла, и я из сумки ей платок достала. Но она глаз не утерла, а только смотрит на меня – щеки все мокрые, глаза провалились, и под ними бурые круги.

– Ты меня правда не ненавидишь, мамочка? – говорит она. – Правда?

– Правда, – отвечаю. – Правда. И никогда у меня к тебе ненависти не было, хоть поклянусь, деточка. Но я хочу распутаться с этим делом, хочу, чтобы ты мне рассказала с начала и до конца. По лицу вижу – ты думаешь, у тебя сил не хватит, но я знаю, есть у тебя силы. И запомни одно: больше никогда никому тебе рассказывать про это не надо будет. Даже своему мужу, если не захочешь сама. Это – как занозу вытащить. Клятву даю. Ты поняла?

– Да, мамочка, но он сказал, если я признаюсь... ты иногда совсем сумасшедшей делаешься, он сказал... как тогда, когда ты ударила его

сливочником... Он сказал, чуть мне захочется признаться, чтобы я вспомнила этот топор... и... и...

– Нет, так не пойдет, – говорю я. – Начинай-ка с самого начала, как было и что. Но одно я хочу знать сразу: твой отец лез к тебе?

Она голову повесила и молчит. Мне-то другого ответа и не требовалось, но, думаю, ей легче станет, если она это вслух скажет.

Подсунула пальцы ей под подбородок и приподняла ее голову, так что мы в глаза друг дружке посмотрели.

– Было? – говорю.

– Да, – отвечает и снова разрыдалась. Но плакала теперь не так долго и не так горько. Но я дала ей волю: мне разобраться самой надо было, что дальше говорить. Спросить: «Что он с тобой делал?» – нельзя было, я решила, что она толком знать не может. У меня прямо на языке вертелось: «Он тебя трахал?» – но я подумала, что она все равно толком не поймет, даже если я прямо так и брякну... И в голове у меня это словцо так противно отдалось. Ну наконец я сказала:

– Он вкладывал свой пенис в тебя, Селена? В твою киску?

Она мотнула головой:

– Я ему не позволяла. – Тут она всхлипнула. – То есть до сих пор.

Ну после этого нам обоим чуть полегче стало, во всяком случае, друг с дружкой. А чувствовала я внутри одну ярость. Будто у меня внутри глаз, про который я раньше не знала, и вижу я им только длинную лошажью морду Джо, и губы, всегда растресканные, и зубы, всегда желтые, и щеки, всегда обветренные, с красными пятнами на скулах. После этого мне его морда все время мерещилась, будто этот глаз открытым оставался, когда настоящие закрывались и я засыпала. И стало мне ясно, что закроется этот глаз, только когда он умрет. Ну просто вроде влюбленности, только наоборот.

А Селена рассказывает – с самого начала и до конца. Я слушала и ни единого раза не перебила, а пошло все, конечно, с той ночи, когда я об Джо сливочник разбила, а Селена подошла к двери, как раз когда он руку к уху прижимал и кровь текла, а я стояла с топориком, будто и правда прицелилась ему голову отрубить. А я-то, Энди, всего-то и хотела его унять и жизнью ради этого рисковала, только этого она увидеть не могла. А все, что видела, на его чашке весов лежало. Дорога в ад, говорят, вымощена добрыми намерениями. Так оно и есть, я-то знаю. По горькому опыту. Зато не знаю, почему так часто думаешь сделать хорошо, а получается плохо. В этом уж пусть головы поумнее моей разбираются.

Всю историю я пересказывать не собираюсь – и не чтоб Селену

оберечь, но потому как она очень длинная, да и сейчас все равно слишком больно все это перебирать заново. Но первое, что я от нее услышала, я вам скажу. Никогда этого не забуду, потому что меня снова ошарашило, как велика разница между тем, чем вещи кажутся, и какие они на самом деле... между тем, что снаружи, и тем, что внутри.

– Он был такой печальный, – сказала она. – У него между пальцев кровь текла, а в глазах были слезы, и он был такой печальный. И за этот его печальный вид я тебя возненавидела даже больше, чем за кровь и за слезы, мамочка, и решила как-то возместить ему это. Я ушла к себе, стала на колени у кровати и начала молиться. «Господи, – сказала я, – если ты не дашь ей больше его мучить, я ему возьму! И даю на том клятву. Во имя Иисусово, аминь!»

Сами понимаете, что я почувствовала, когда услышала от своей дочки такое через год с лишком после того, как с этим делом покончено было, то есть я так думала. Понимаешь, Энди? Фрэнк? А ты, Нэнси Баннистер из Кеннебанка? Да нет... вижу, что нет. И не дай вам Бог понять.

Ну и она начала за ним ухаживать – приносила что-нибудь вкусненькое, когда он в сарае возился с чьим-нибудь снегомобилем или подвесным мотором, садилась рядом с ним, когда мы вечером телевизор смотрели, сидела с ним на крыльце, когда он вырезал что-нибудь, слушала, как он про политику распространяется, а уж тут Джо Сент-Джордж такую чушь нес, уши вяли. Как Кеннеди отдал все под начало евреям и католикам, как коммунисты на Юге пыжались открыть черномазым доступ в школы и закусочные и совсем скоро страна погибнет. Она слушала, она улыбалась его шуткам, делала ему припарки, когда у него кожа на руках трескалась, а он не так глух был, чтоб не услышать, как удача к нему в дверь стучится. Политические разоблачения он бросил, а начал разоблачать меня – и какой сумасшедшей я делаюсь, чуть озлюсь, и отчего наша семейная жизнь не заладилась. По его выходило, что вся причина во мне.

А под конец весны шестьдесят второго начал он ее ласкать не совсем по-отцовски. Сперва дальше не шло – ну, по ноге погладит, когда они рядом перед телевизором сидят, а я выйду за чем-нибудь, похлопает по заду, когда она ему пиво в сарай принесет. Ну, это сперва, а потом пошло-поехало. К середине июля Селена, бедняжка, боялась его не меньше, чем меня. А к тому времени, когда я сообразила на материк поехать да расспросить ее, он уже с ней проделал все, что только мужчина может проделать с женщиной, кроме самого последнего... И запугал ее так, чтоб и она много чего с ним делала.

Думается, он бы сорвал ее цветочек перед Днем Труда, да только Джо

Младший и Малыш Пит под ногами путались – занятий-то в школе не было. Ну, Малыш Пит просто мельтешил по дому, а вот Джо Младший, по-моему, сообразил что к чему и нарочно мешал. Если так, то пусть Бог его благословит, вот все, что я сказать могу. От меня-то толку не было – я ж тогда по двенадцать, а то и по четырнадцать часов в день работала. И все время, пока меня дома не было, Джо липнул к ней, ласкал, просил, чтоб она его целовала, просил, чтоб она его трогала за «особые места» (это он их так называл), и объяснял, что ничего с собой сделать не может, что должен просить ее – она с ним ласкова, а я нет, а у мужчины есть особые потребности, и все тут. Мне она ничего сказать не могла. Он ей говорил, что я, если она скажет, убью их обоих. И все напоминал ей про сливочник да топор. И твердил, какая я холодная, сварливая стерва и он ничего с собой поделать не может, потому что у мужчины есть особые потребности. Он вбивал ей это в голову и вбивал, Энди, пока она чуть не помешалась. Он...

Что, Фрэнк?

Да, работать-то он работал, только работа у него не такая была, чтоб помешать к собственной дочери липнуть. Я его мастером на все руки прозвала. Так оно и было. Летним приезжим то одно, то другое делал и за двумя домами приглядывал, пока хозяев не было. (Надеюсь, хозяйева эти составили список всего, что у них ценного было!) Четверо не то пятеро рыбаков брали его подручным – тащить сети Джо умел не хуже другого всякого, – когда не с похмелья, ну и починкой моторов он подрабатывал. Короче говоря, работал, как почти все мужчины на острове (хотя не так усердно, как большинство), – тут немножко одного, там немножко того. Ну а такой человек сам себе рабочие часы устанавливает; и в то лето, и в начале осени Джо так устраивал, что оставался дома почти все время, пока меня не было. Чтоб Селену к рукам прибрать.

Не знаю, поняли вы, о чем я вам толкую? Сообразили, что он хотел к ней в душу забраться не меньше, чем под юбку? Думается, то, что она увидела меня с этим чертовым топориком в руке, на нее особенно действовало, ну и он жал на это изо всех сил. Когда увидел, что сочувствия этим из нее уже не выжмешь, использовал для запугивания. Твердил и твердил, что я ее из дому выгоню, если узнаю, чем они занимаются.

Они! О Господи!

Она говорила, что не хочет этого делать, а он отвечал, что теперь уже поздно останавливаться, хочешь не хочешь. Он говорил ей, что она его дразнила так, что совсем с ума свела, и что изнасилования – это почти всегда результат такого вот поведения девушки, и приличные женщины (то есть злые, размахивающие топорами стервы вроде меня, думается) это

знают. Джо твердил ей, что он будет молчать, пока она будет молчать... «Но, – сказал он ей, – ты пойми, детка: если хоть что-то наружу выйдет, так наружу выйдет все!»

Что «все», она не знала и не понимала, почему принести ему стакан чая со льдом в сарай и рассказать про нового щенка Лори Лэнджилл значит внушить ему мысль, что он может забираться к ней между ног и жать там, когда ему захочется, но все-таки поверила, что чем-то толкнула его на такое поведение, и ей было стыдно. Это-то, по-моему, и было самым скверным – не страх, а стыд.

Она сказала, что решила было рассказать все миссис Ширс, школьному психологу. И даже записалась на прием, но пока ждала, – разговор у той с девочкой, которая пришла раньше, затянулся, – ей страшно стало. Это меньше месяца назад было до нашего разговора, только-только занятия в школе начались.

– Я вдруг подумала, а как я скажу такое? – рассказывала она мне, пока мы сидели на скамье у кормового трапа. К тому времени полпролива мы уже проплыли, и Восточный мыс был хорошо виден, весь в лучах осеннего солнца. Селена наконец перестала плакать – иногда вдруг всхлипывала, и платок мой насквозь промок, но она себя почти все время в руках держала, и очень я ею гордилась. Но мою руку она не выпускала, а сжимала будто тисками все время, пока мы говорили. На следующий день рука у меня вся в синяках была.

– Я подумала, каково это будет сесть и сказать: «Миссис Ширс, мой отец добивается от меня, вы знаете чего». А она такая тупая, такая... такая старая, что, конечно, скажет: «Нет, я не знаю, чего, Селена. О чем ты говоришь?» И будет каждое слово растягивать для внушительности. И мне придется сказать ей, что мой собственный отец пытается переспать со мной, а она мне не поверит, потому что в ее кругу так не делают.

– Думается, делают так везде в мире, – говорю я. – Печально, но факт. И по-моему, школьный психолог должен про это знать, если она не последняя дура. А миссис Ширс – последняя дура, Селена?

– Нет, – говорит Селена. – По-моему, нет, мамочка, но...

– Родная, неужто ты думала, что ты самая первая на свете, с кем такое случилось? – спрашиваю. Но она ответила опять так тихо, что я не расслышала и переспросила.

– Я не знала, первая я или нет, – говорит она и прижимается ко мне. Я ее тоже обняла покрепче. – Ну, так или не так, – сказала она потом, – а я, пока сидела там, поняла, что этого мне не выговорить. Может, войди я сразу, то выпалила бы, но когда мне пришлось подождать, я начала

раздумывать и думать, а что, если папа прав и ты решишь, что я скверная девчонка...

– Ну уж этого я никогда не подумаю, – перебила я и опять обняла ее покрепче.

Она мне улыбнулась, да так, что у меня на сердце сразу потеплело.

– Теперь я знаю, – говорит, – но тогда совсем уверена не была. И пока я сидела там и смотрела в стеклянную дверь, как миссис Ширс разговаривает с той девочкой, я вдруг нашла хорошую причину не входить к ней.

– А? – говорю. – Какую же?

– Так ведь, – отвечает, – к школе это же отношения не имело!

Мне вдруг смешно стало, я так и прыснула, и Селена тоже, и начали мы смеяться все громче да громче – сидим на этой скамье, держимся за руки и хохочем, точно парочка гагар в брачный сезон. Буфетчик даже из люка высунулся, посмотреть, все ли у нас в порядке.

И еще она мне две вещи сказала там на пароме – одну языком, а другую глазами. Вслух она сказала, что уже думала собрать вещи и сбежать – все-таки выход. Да только бегство раны не залечит, если они глубокие, – куда ни беги, твоя голова и сердце все равно при тебе останутся, ну и по ее глазам я поняла, что она не раз и не два подумывала на себя руки наложить.

Подумаю об этом – как увидела мысль о самоубийстве в глазах моей дочки, – и этот мой внутренний глаз еще яснее видит лицо Джо. Вижу, каким оно было, когда он лез к ней и лез и руку под юбку ей совал, пока она, чтоб защититься, стала в джинсах ходить, а если не добился своего (то есть не всего добился), так не от недостатка старания, а просто от везения – ей повезло, а ему не повезло. Еще я думала о том, что могло случиться, не брось Джо Младший играть с Уилли Брэмхоллом и не вернись домой пораньше – и раз, и два, или если бы я наконец не разула глаза да не посмотрела на нее хорошенько. А больше всего я думала о том, как он ее совсем загнал. Точно бесчувственный возчик, который хлещет лошадь кнутом или палкой бьет и не дает ей передышки ни из любви, ни из жалости, пока она не свалится мертвой у его ног... а он, наверное, стоит с палкой и в затылке чешет – с чего это вдруг? Вот, значит, куда желание погладить его по лбу, проверить, такой ли он гладенький, как кажется, привело меня! Тут мои глаза совсем открылись, и я увидела, что жила с человеком, не знающим ни любви, ни жалости, воображающим, что все, до чего он может дотянуться и ухватить, то его, даже собственная его дочь!

Додумалась я до этого, и в первый раз мне пришла мысль, что надо бы его убить. Решила я это не тогда. Господи, нет! И все-таки я лгуньей буду,

если скажу, что мысль эта была случайной, вроде мечты... Нет, она куда сильнее была.

Селена, наверное, что-то заметила у меня по глазам, потому как положила руку мне на плечо и сказала:

– Мамочка, будет плохо? Скажи, что нет. Не то он догадается, что я сказала, и взбесится.

Очень мне хотелось ее успокоить, сказать то, что ей хотелось услышать, но не смогла я. Я знала, плохо будет, а вот как и много ли, от Джо зависело. В ту ночь, когда я его сливочником ударила, он пошел на попятный, ну а теперь – кто угадает?

– Я не знаю, что случится, – сказала я, – но я скажу тебе две вещи, Селена. Твоей вины тут ни в чем нет, и лапать тебя и приставать к тебе он больше не будет. Понимаешь?

Глаза у нее снова наполнились слезами, и одна поползла по щеке.

– Просто я не хочу ничего плохого, – сказала она и замолчала. Губы у нее дергались, а потом она вскрикнула: – Как мне это невыносимо! Ну зачем ты его ударила? Зачем он начал приставать ко мне? Почему все не могло остаться как было?

Я взяла ее за руку.

– Родненькая, все всегда меняется – иногда к худшему, и тогда надо исправлять положение. Ты ведь это знаешь, правда?

Она кивнула. Я увидела на ее лице боль, но не сомнения.

– Да, – сказала она. – Кажется, знаю.

Паром уже подходил к пристани, и времени на разговоры не оставалось. Я даже обрадовалась, что больше она не будет смотреть на меня сквозь слезы и хотеть того, чего, думается, хочет каждый ребенок: чтоб все стало хорошо, но чтоб никому не было больно или плохо. Не будет ждать от меня обещаний, которые я дать не могу, потому как не знаю, сумею ли их сдержать. Я опасалась, что внутренний глаз не допустит, чтоб я их сдержала. Мы сошли с парома без единого слова, и мне это было в самый раз. Вечером, когда Джо вернулся от Карстейрсов, – он там сзади веранду пристраивал, – я отослала всех детей за покупками. Селена все время на меня поглядывала, пока шла к калитке, и лицо у нее было белое, как стакан молока. Всякий раз, когда она оборачивалась, я видела у нее в глазах распроклятый топор. Но я видела в них и еще кое-что – по-моему, это было облегчение. Наверное, она думала, что наконец-то что-то сдвинется с места, перестанет кружить и кружить. Хоть ее страх мучил, думается, было у нее и такое чувство.

Джо сидел у печки с «Америкен», как всегда по вечерам. Я встала

возле дров, глядя на него, и этот внутренний глаз будто раскрывался все шире. Вы только посмотрите, думала я: расселся, будто всемогущий верховный Тру-ля-ля из Верхней Задницы. Расселся, будто не влезает в штаны сначала одной ногой, потом другой, как все мы. Расселся, будто лапоть свою единственную дочку – это самое обычное дело в мире и всякий мужчина после такого уснет с чистой совестью. Я старалась понять, как это мы со школьной вечеринки в гостинице «Сеймсет» дожили вот до этого: он сидит у печки и почитывает газетку в старых заплатанных джинсах и грязной майке, а я стою над дровами и в сердце убийство вынашиваю... Старалась и не поняла. Точно в заколдованном лесу – оглянешься, а дороги позади тебя уже нет.

А внутренний глаз видел все больше и больше. Увидел шрамы на ухе, куда я его сливочником ударила; увидел ветвящиеся прожилки на носу; увидел, как его нижняя губа отвисает, так что вид у него всегда обиженный был; увидел перхоть у него на бровях и то, как он дергает себя за волоски в ноздрах или за брюки в промежности.

Все, что видел этот глаз, было скверным, и тут до меня дошло, что наш брак – это не просто самая большая ошибка в моей жизни, а единственная, по-настоящему страшная – ведь расплачиваться за нее не только мне приходится. Сейчас он на Селену нацелился, но ведь за ней два мальчика подрастают, а если он все старался изнасиловать их старшую сестру, так с ними он что надумает сделать?

Я отвернулась, и этот внутренний глаз увидел топорик на полке над дровами – на обычном его месте. Я протянула руку и ухватила топориче, а сама думаю: на этот раз я его тебе в руку не суну, Джо... Тут я вспомнила, как Селена оборачивалась, пока они шли втроем к калитке, и решила, что проклятый топор так и останется здесь лежать, что бы там дальше ни произошло. Я нагнулась и взамен вытащила из корзины кленовое полено.

Топор, полено – разница невелика была: все равно жизнь Джо на волосочке повисла. Чем дольше я смотрела, как он сидит в грязной майке да дергает за волоски в ноздрах и почитывает странички юмора, чем больше я думала о том, что он с Селеной натворил, чем больше я про это все думала, тем больше меня зло брало, тем ближе я была к тому, чтоб шагнуть к нему и раскроить ему башку кленовым поленом. Я даже место углядела, чтоб первый удар нанести. Волосы у него шибко поредели, особенно на макушке, и она от света лампы посверкивала. И веснушки на коже были видны между остатками волос. Вот по ней, думала я, по этой самой плечи. Кровь прямо на абажур брызнет, ну и пусть. Все равно он старый и безобразный. Чем больше я про это думала, тем больше мне

хотелось посмотреть, как кровь на абажур брызнет, – уж очень ясно я это себе представила. А потом я подумала, что капли крови обрызгают лампочку и зашипят на ней.

Стою, думаю про все это, и чем больше думаю, тем крепче мои пальцы полено сжимают. Совсем ополоумела, что так, то так, но просто отвернуться от него не могла. А и отвернулась бы, так этот внутренний глаз все равно на него смотрел бы.

Я твердила себе: подумай, что почувствует Селена, если я сделаю это и самые худшие ее страхи оправдаются, – но и это не помогло. Как я ни любила ее, как ни искала ее привязанности, – не помогло. Этот глаз оказался сильнее любви. Даже мысль о том, что станется с ними с тремя, если Джо будет убит, а я за его убийство окажусь в Саут-Уиндхеме, – даже эта мысль не закрыла внутренний глаз. Он оставался открытым и видел все больше и больше уродств на лице Джо. То, как он соскребал белые чешуйки со щек, когда брился. Комочек горчицы, присохший к подбородку за ужином. Большие лошадиные зубы в искусственных челюстях, которые он выписал по каталогу, и сидели они плохо. И всякий раз, как внутренний глаз подмечал что-то еще, я сжимала полено еще крепче.

В последнюю минуту мне пришла еще одна мысль. Если ты сделаешь это прямо здесь и прямо сейчас, так не из-за Селены, подумала я. И не ради мальчиков. А потому что все эти пакости творились прямо у тебя под носом три месяца, а то и больше, а ты ничего не замечала, дура тупая. Если ты собираешься убить его, и сесть в тюрьму, и с детьми видаться только по субботам час-другой, так разберись, почему ты это сделаешь. Не потому что он к Селене подбирался, а потому что он тебя одурачил, и вот в этом ты похожа на Веру: не терпишь в дурах оставаться пуще всего на свете.

Вот это меня и охладило. Внутренний глаз не закрылся, но словно потускнел и поутратил силу. Я хотела разжать пальцы и выпустить полено, но я их так сжимала, что они меня не слушались. Пришлось другой рукой отогнуть два пальца, и только тогда оно упало в корзину. А остальные три пальца так согнутыми и остались, будто еще держат его. Раз пять я их сжимала и разжимала, прежде чем рука опять нормальной сделалась.

А тогда я подошла к Джо и потрогала его за плечо.

– Мне с тобой надо поговорить, – сказала я.

– Ну и говори, – отвечает он из-за газеты. – Я тебе не препятствую.

– Я хочу, чтоб ты на меня смотрел, – говорю. – Отложи газету.

Он опустил газету на колени и посмотрел на меня.

– Ну, уж ты своему языку отдыха ни на минуту не даешь, – говорит.

– Свой язык я сама уйму, – отвечаю, – а вот ты уйми свои руки. Не то

они тебе наделают неприятностей, до Судного Дня не расхлебашь.

Он вздернул брови и спрашивает, о чем это я.

– А о том, чтоб ты оставил Селену в покое, – говорю.

Он поглядел на меня так, будто я саданула его коленом по семейным драгоценностям. Самая лучшая из скверных минут, Энди, – выражение на роже Джо, когда сообразил, что все вышло наружу. Кожа у него посерела, рот открылся, а туловище в его дерьмовой качалке дернулось, как бывает с людьми, когда они уже засыпают и вдруг подумают о чем-нибудь скверном.

Он попытался сделать вид, будто ему просто спину прихватило, но не обманул ни себя, ни меня. И вроде бы он даже устыдился, но по мне и у дворняги хватит ума устыдиться, если ее поймать, когда она яйца из курятника ворует.

– Не понимаю, что ты такое говоришь, – бурчит он.

– Тогда почему ты такую рожу скроил, будто дьявол тебе яйца выкручивает? – спросила я.

Тут он прямо почернел.

– Если этот пащенок Джо Младший врет про меня... – начал он.

– Джо Младший про тебя ни словечка не сказал, – говорю. – И брось комедию ломать, Джо. Мне Селена сказала. Все мне рассказала. Как хотела скрасить тебе жизнь, когда я тебя сливочником ударила, как ты ей отплатил и чем пригрозил, чтоб она молчала.

– Лгунья она желторотая! – кричит он и сбрасывает газету на пол, будто в доказательство. – Лгунья и приставала. Вот возьму ремень и, когда она зайвится сюда... если посмеет...

Он было приподнялся, но я ладонью снова его усадила. До чего же просто – опрокинуть человека, который встает с качалки, я даже удивилась. Ну да за три минуты до этого я чуть не разбила ему башку поленом, так, может, силы у меня и прибавилось.

Глаза у него в щелки сощурились, и он сказал, чтоб я не дурила.

– Один раз у тебя вышло, – говорит, – но не думай, будто тебе это снова с рук сойдет, если опять попробуешь.

Я ж сама так подумала и всего минуточку-другую назад, но не сообщать же ему про это было!

– Бахвальство для своих дружков оставь, – вот что я сказала. – А сейчас помолчи и послушай... и постарайся, чтоб до тебя дошло, я ведь серьезно говорю. Если ты опять попробуешь что-нибудь с Селеной, я тебя в тюрьму засажу за развращение малолетней или за попытку изнасилования – это смотря какое обвинение тебя наподольше упрячет.

Это его оглушило. Опять у него рот разинулся. Сидит и смотрит на

меня.

– Да никогда ты... – начал он было и осекся, понял, что я так и сделаю. Тут он разобиделся, выпятил нижнюю губу и прохныкал: – Так ты на ее сторону стала, Долорес? Даже не выслушала мое объяснение.

– А тебе есть что объяснять? – говорю. – Когда мужик, которому через четыре года сорок стукнет, просит свою четырнадцатилетнюю дочку снять трусики, чтоб он посмотрел, много ли волос на ее киске выросло, по-твоему, ему есть что объяснять?

– Ей через месяц пятнадцать будет, – заявляет он, будто это что-то меняло. Да уж нещечко он был поискать.

– Сам-то ты хоть слышишь, что говоришь? – спрашиваю я его. – Слышишь, что твой собственный язык болтает?

Тут он опять на меня уставился, потом нагнулся и подобрал газету.

– Отвяжись, Долорес, – говорит он самым своим обиженным – «ах я бедненький» – голосом. – Я хочу дочитать статью.

Ух, как мне хотелось вырвать у него газету, порвать в клочья да швырнуть их ему в рожу! Ну да только тогда дело могло бы и до крови пойти, а я не хотела, чтоб дети – а Селена особенно – вошли и увидели драку. А потому я только руку протянула и легонечко так большим пальцем отогнула лист.

– Сперва ты обещаешь мне оставить Селену в покое, – говорю, – чтоб мы могли забыть про эту пакость. Обещай, что до конца жизни не притронешься к ней так.

– Долорес, да ты что... – начал он.

– Обещай, Джо, не то я из твоей жизни ад сделаю.

– Думаешь, испугала? – орет он. – Ты из моей жизни ад пятнадцать лет как делаешь, стерва чертова! Хоть морда у тебя безобразная дальше некуда, но характерец еще безобразнее! Не нравится, какой я, так себя вини!

– Ты понятия не имеешь, что такое ад, – говорю, – но узнаешь, если не обещаешь оставить ее в покое. Уж я позабочусь!

– Ладно! – завопил он. – Ладно! Обещаю! Ну, хватит с тебя? Довольна теперь?

– Да, – говорю, хоть мне этого мало было, но я знала, что ждать мне от него больше нечего. Пусть бы он даже сотворил чудо с хлебами и рыбами. Я решила до конца года либо увезти детей из этого дома, либо увидеть его в гробу. Так или эдак – для меня разницы не составляло, но я не хотела, чтоб он о чем-нибудь догадался, пока не будет уже поздно.

– Хорошо, – говорит он. – Значит, все в порядке, похоронено и забыто, а, Долорес? – Но я заметила у него в глазах огонек, и, ох, как мне он не

понравился. – Думаешь, какая ты умная, а?

– Уж не знаю, – говорю. – Прежде мне казалось, что я умом не обижена, но только погляди, какое дерьмо я кормлю и обстирываю.

– Ну зачем так, – говорит и все смотрит на меня все так же хитренько. – Ты же себя таким горячим говном воображаешь, что, небось, когда подтираешься, так проверяешь, не дымится ли бумажка. Да только не все ты знаешь.

– Ты о чем?

– А ты догадайся, – отвечает и разворачивает газету, будто толстосум, которому не терпится проверить, не подложила ли ему биржа свинью. – Такой умнице же это раз плюнуть.

Не понравилось мне это, но я промолчала. Отчасти не хотела весь день ворошить палкой осиное гнездо. Но еще и потому, что правда верила, будто умна – и уж в любом случае поумнее его. Вот так. И решила, что, задумай он против меня что-нибудь, я угляжу через пять минут, чуть он начнет. Гордыня это была, другими словами. Гордыня и ничего больше, а что он уже начал, мне и в голову не пришло.

Когда дети вернулись с покупками, я отослала мальчиков в дом, а мы с Селеной пошли на задний двор. Там ежевика росла, густо так, листья все уже почти осыпались, и ветки под ветром шуршали и перестукивались, жуткий такой звук, тоскливый. Из земли там торчал белый валун, и мы сели на него. Над Восточным мысом повис месяц, и когда она меня взяла за руку, пальцы у нее были холодные, прямо как этот месяц.

– Я боюсь войти в дом, мамочка, – говорит она, а голос у нее дрожит. – Я пойду к Тане, хорошо? Ну, позволь?

– Бояться тебе нечего, родная, – говорю. – Все улажено.

– Я тебе не верю, – шепчет она, а по ее лицу видно, что поверить-то ей очень хочется. Больше всего на свете.

– Нет, это правда, – говорю. – Он обещал оставить тебя в покое. Ему на свои обещания плевать, но это он сдержит, потому как знает, что я буду за ним следить, а ты не промолчишь, если что. Ну и перепуган он насмерть.

– Перепуган нас... почему?

– Я ему сказала, что упрячу его за решетку, если он опять возьмется за свои пакости.

Она охнула и опять вцепилась мне в руку.

– Мамочка, не могла же ты!

– Еще как могла. И я его всерьез предупредила, – говорю. – Лучше, чтоб ты это знала, Селена. Да ты успокойся... Ближайшие четыре года Джо к тебе навряд ли сунется... А тогда ты в колледж уедешь. Если в этом мире

он хоть что-то уважает, так это свою шкуру.

Она отпустила мою руку, медленно, но уверенно, и я увидела, что в глазах у нее появилась надежда. И еще кое-что. Словно к ней юность возвратилась, и только тогда, сидя с ней в лунном свете у ежевики, я вдруг поняла, какой погасшей, будто старуха, выглядела она этой осенью.

– Он меня бить не будет? – спрашивает она. – Ремнем?

– Нет, – говорю. – С этим покончено.

Тут она поверила, положила головку мне на плечо и заплакала. От облегчения, от радости и только. Но от таких ее слез я еще больше Джо возненавидела.

Думается, в следующие ночи у меня в доме была девочка, которая в первый раз после трех месяцев спала спокойно и сладко... Зато я лежала без сна. Слушаю, как Джо рядом храпит, смотрю на него этим внутренним глазом и просто готова повернуться и перегрызть ему горло чертово. Но я уже не бесилась, как когда чуть не пришибла его поленом. Думала о детях, о том, что с ними будет, если меня арестуют за убийство, – тогда-то эти мысли никакой власти над внутренним моим глазом не имели, но попозже, чуть я сказала Селене, чтоб она больше не тревожилась, и сама поостыла, возобладали они. Но я все равно знала, что Селене одного хочется – чтобы все по-прежнему шло, будто ее отец ничего такого не затевал. А этого быть никак не могло. Пусть бы он даже сдержал обещание и пальцем ее больше не тронул, все равно не могло... И хотя Селену я успокаивала, сама-то я не очень верила, что он его сдержит. Рано или поздно люди вроде Джо убеждают себя, что в следующий раз у них все получится: надо только поосторожней, и все будет по-ихнему...

Пока я лежала так в темноте, совсем наконец остывшая, ответ казался очень простым: взять детей и переехать с ними на материк, да поскорее. Спокойной-то я была, но знала, что ненадолго: внутренний глаз не даст. А когда в следующий раз вспыхну, он будет видеть зорче, а Джо будет выглядеть еще безобразнее, и не найдется такой силы на земле, чтоб меня удержать. Ну прямо помешательство какое-то, но у меня рассудка как раз хватало, чтоб понять, какой непоправимый вред будет, если я ему поддамся. Нет, мне нужно убраться с Литл-Толла, пока я совсем не свихнулась. А когда я сделала первый шаг, то и узнала, что означал хитрый огонек у него в глазах. Еще как узнала!

Я выждала, чтоб все на свои места вернулось, а потом утром в пятницу отправилась на одиннадцатичасовом пароме на материк. Дети были в школе, а Джо на синих волнах с Маком Стардиллом и его братом ловушки для лангустов ставил и вернуться должен был только на закате.

Я взяла сберегательные книжки на детей. Мы откладывали деньги им на колледж чуть не с дня их рождения... То есть я – Джо плевать хотел, поступят они в колледж или нет. Чуть разговор об этом заходил – начинала его, конечно, я, а он сидел в своей дерьмовой качалке за «Америкен», – но тут высовывал рожу, чтоб сказать:

– Ну какого черта, Долорес, тебе приспичило посылать их в колледж? Я вот без всякого колледжа прекрасно живу.

Ну, есть вещи, которые не оспоришь. Если Джо считал, будто почитать газетенку, выковыривать козюль и размазывать их по полозьям качалки – значит жить прекрасно, говорить больше было не о чем. И начинать не стоило. И пусть его. Пока мне удавалось выцарапывать у него взносы, когда он находил выгодную работу, как, например, на строительстве шоссе, мне наплевать было, что он вбил себе в голову, будто во всех колледжах заправляют коммунисты. В ту зиму, когда он на материке дорожными работами занимался, я его заставила положить на их книжки пятьсот долларов, и он визжал, как побитая собачонка. Орал, что я все его дивиденды забрала. Так я ему и поверила, Энди! Если этот подонок не заработал в ту зиму две тысячи, а то и две пятьсот, я хоть сейчас борова поцелую.

«Ну почему, Долорес, тебе всегда надо меня поедом есть?» – спрашивал он меня.

«Если б ты был настоящий мужчина и сам о детях заботился, я б тебе слова поперек не сказала», – отвечала я. Вот так оно всегда было: бэ-бэ-бэ да мэ-мэ-мэ. Мне просто тошно становилось, Энди, но я почти всегда из него выцарапывала то, что детям причиталось, тошнило меня или не тошнило. Ведь кто б еще постарался, чтоб у них будущее было, когда они до него дорастут?

По нынешним временам на книжках этих гроши были – тысячи две у Селены, долларов восемьсот у Джо Младшего, четыреста-пятьсот у Малыша Пита. Но шел-то шестьдесят второй, а тогда это были хорошие деньги. Более чем достаточно, чтоб с острова уехать. Я решила по книжке Малыша Пита наличные получить, а на остальные две взять аккредитивы. Я решила покончить со всем и забрать их в Портленд, найти жилье и хорошую работу. Ни они, ни я к городской жизни не привыкли, ну да люди к чему хочешь привыкают, если деваться некуда. И Портленд тогда был не такой уж большой город, не то что сейчас.

А как устроюсь, начну возвращать деньги, какие придется потратить. Я думала, у меня получится. А нет, так они очень способные были и могли стипендию получить. На крайний случай я бы не постеснялась и заем

попросить. Главное было – увезти их поскорей с острова, тогда это казалось куда важнее даже колледжа. Сперва первым займись, как было написано на наклейке, которую Джо к старому трактору прилепил.

Я вот почти три четверти часа про Селену говорила, а ведь от него вред не только ей одной был. Хуже всего ей приходилось, но пакости и для Джо Младшего хватало. В шестьдесят втором ему двенадцать было – для мальчика самый лучший год, но, глядя на него, вы бы так не подумали. Он почти никогда не улыбался, не смеялся, да и неудивительно. Не успеет в комнату войти, как папаша на него набрасывался, точно хорек на цыпленка: рубашку заправь, волосы причеши, не горбись, да когда ж ты вырастешь, ну что все время носом в книжку утыкаешься, будто девчонка, пора из тебя мужчину сделать... А когда за год до того, как я выяснила, что с Селеной происходит, Джо Младший не попал в первую команду своей школы, так послушать его отца, его сняли с олимпийской дорожки за допинг. Добавьте, что он видел, как его папаша липнул к его старшей сестре, и получите Бог знает какое месиво. Иной раз взгляну, как Джо Младший на отца смотрит, и такую ненависть у него на лице увижу – настоящую жгучую ненависть. И за неделю или за две до того, как я со сберегательными книжками на материк поехала, до меня дошло, что на отца у Джо свой внутренний глаз открылся.

Ну и Малыш Пит. Когда ему четыре сровнялось, он за Джо хвостиком ходил – штанишки на поясе поддергивал, как Джо, за нос и за уши дергал тоже на манер Джо. Волос-то у него в носишке, конечно, не было, вот он и притворялся. В первый свой школьный день он вернулся домой, хныча, штанишки сзади все в грязи, а на щеке царапина. Я села рядышком с ним на крыльце, обняла его и спросила, что такое случилось. Он сказал, что чертов жиденок Дикки О'Хара его с ног сбил. Я ему сказала, что «чертов» – это ругань и он не должен таких слов говорить, а потом спросила его, знает ли он, что такое жиденок. Правду сказать, мне любопытно было, что он такое скажет.

– Конечно, знаю, – говорит. – Жиденок – это такой дурак безмозглый, вот как Дикки О'Хара.

Я ему объяснила, что это слово вовсе не то означает, а он спросил: а что? Я ответила, что ему и знать не надо, но чтоб он это слово никогда не говорил, потому что оно плохое. Тут он на меня уставился сердито и нижнюю губу выпятил. Ну вылитый папаша. Селена отца боялась, Джо Младший его ненавидел, но опасалась-то я, пожалуй, больше всего за Малыша Пита, потому что Малыш Пит хотел вырасти во всем на него похожим.

Ну я достала их сберегательные книжки со дна моей шкатулки для драгоценностей (я их там хранила, потому что только она у меня тогда запиралась – ключ я носила на шее на цепочке) и в половине первого вошла в Банк Северного побережья в Джонспорте. Когда подошла моя очередь, я протянула книжки кассирше, сказала, что хочу закрыть все три счета, и объяснила, как прошу выдать мне деньги.

– Одну минуточку, миссис Сент-Джордж, – говорит она и отходит вытащить счета. Компьютеров тогда, конечно, и в помине еще не было, ну и им приходилось самим возиться.

Ну достает она их – все три, мне хорошо видно было, открывает и смотрит. А поперек ее лба морщинка набегают, и тут она говорит что-то другой кассирше. И они обе начинают смотреть, а я стою за барьером, гляжу на них, твержу себе, что причин нервничать никаких нет, а сама нервничаю все больше и больше.

Тут кассирша идет не ко мне, а в каморочку, которую они кабинетом называют. Стены у него стеклянные, и я увидела, что она разговаривает с лысеньким коротышкой в сером костюме, с черным галстуком. Когда она вернулась ко мне, счетов при ней не было – оставила их на столе у лысого.

– Мне кажется, о накоплениях ваших детей вам лучше поговорить с мистером Пийзом, миссис Сент-Джордж, – сказала она и толкает ко мне сберегательные книжки. Ребром ладони, будто они микробами кишат и она может заразиться, если будет долго к ним прикасаться.

– Зачем? – спрашиваю. – Что в них не так? – Про то, что нервничать причин нет, я уж и думать забыла. Сердце у меня колотилось будто бешеное, а во рту пересохло.

– Право, не могу сказать, но если вышло какое-то недоразумение, мистер Пийз тут же в нем разберется, – говорит она, а глаза отводит, ну я и поняла, что сама-то она так не думает.

Пошла я в этот кабинет – еле ноги волочу, будто на каждой по двадцать фунтов цемента налипло. Я уже догадывалась, что случилось, но не могла в толк взять, как это могло случиться. Господи! Книжки-то у меня, верно? И Джо не мог их взять, а потом назад положить. Ведь тогда замок бы сломанным оказался. И даже открой он его (а это чистый смех: он вилку с фасолью ко рту поднести не мог, не уронив половины), так в книжках либо были бы показаны взятые суммы, либо поставлен красный штамп: «Счет закрыт» – банки всегда для этого красными чернилами пользуются... И ни в одной из трех ничего этого нет.

Но я все равно знала, что от мистера Пийза услышу, какую пакость мой муженек устроил. Так оно и вышло. Он сказал, что счета Джо

Младшего и Малыша Пита были закрыты два месяца назад, а Селены – всего две недели назад. Джо такое время выбрал, потому как знал, что после Дня Труда я на их счета ничего класть не стану, пока не накоплю достаточно в суповой кастрюле на верхней кухонной полке, чтоб рождественские счета оплатить. Пийз показал мне зеленые линованные листы, на которых бухгалтеры пишут, и я увидела, что последний большой кус – пятьсот долларов со счета Селены – Джо забрал на следующий день, как я ему сказала, что знаю про его с ней проделки, а он сидел в качалке и ответил, что всего я не знаю. И уж тут он не соврал.

Я раз шесть все цифры просмотрела, а когда подняла глаза, вижу, мистер Пийз напротив меня руки потирает и вид у него обеспокоенный. На лысине пот блестит. Он не хуже меня понял, что произошло.

– Как вы видите, миссис Сент-Джордж, счета закрыл ваш муж, и...

– Как же так? – спрашиваю я его и бросаю на стол три книжки. Так их шлепнула, что он даже замигал и подпрыгнул. – Как же так, когда сберегательные книжки – вот они?

– Ну-у... – тянет он, облизывает губы и мигает, будто ящерица на солнцепеке. – Видите ли, миссис Сент-Джордж, это так называемые счета... то есть это были так называемые опекунские счета. Иными словами, ребенок, на чье имя открыт счет, может... мог бы снять с него ту или иную сумму, только если бы вы или ваш супруг заверили его подпись. А еще это означает, что любой из вас, как родитель, может снимать деньги с этих счетов, когда и сколько вы сочтете нужным. Как вы бы сделали сегодня, будь... кхе-кхе... на этих счетах какие-либо суммы.

– Но в книжках-то нигде никакие снятия не указаны! – говорю. Наверное, я в голос кричала, потому как люди в зале на нас оглядывались. Сквозь стеклянные стенки видно было. Да плевать я хотела... – Как он мог снять деньги без проклятых книжек?

Он ручки потирал все быстрее и быстрее. Они шуршали, как наждачная бумага, и если б он между ними сухую палку зажимал, так наверняка бы бумажки от жвачки в пепельнице поджег.

– Миссис Сент-Джордж, могу ли я попросить вас понизить голос...

– Мой голос – это мое дело, – кричу я еще громче, – а ты, дружок, лучше побеспокойся о том, как ведет дела этот дерьмовый банк! Сдается мне, тут есть о чем побеспокоиться!

Он взял из ящика листок бумаги и заглянул в него.

– Согласно этому документу, – говорит, – ваш муж заявил об утрате сберегательных книжек. И попросил выдать дубликаты. Это достаточно частое...

– Частое, не частое, чтоб ему провалиться! – Я прямо взвыла. – Вы меня не известили! Никто из банка меня не известил! Счета ведь были наши общие! Вот как мне объяснили, когда мы в пятьдесят первом открыли счета на Селену и на Джо Младшего. И то же самое было в пятьдесят четвертом, когда мы открыли счет на Питера. Вы что, хотите мне сказать, что с тех пор правила изменились?

– Миссис Сент-Джордж... – начал он, только у него ничего не вышло – он бы еще попробовал свистеть, набив рот печеньем! – я молчать не собиралась.

– Он вам наврал, и вы поверили его сказочке, попросил выдать ему новые книжки, и вы их ему выдали. Господи Боже ты мой! Кто, черт бы вас побрал, эти деньги в банк вносил, а? Если вы думаете, что Джо Сент-Джордж, так вы еще дурее, чем кажетесь!

В зале все даже притворяться бросили, будто своим делом заняты. Шеи вытягивают и смотрят на нас. И судя по ихним лицам, получали от представления большое удовольствие. Только посмотрела бы я, как бы они радовались, если бы птичкой упорхнули деньги, отложенные на колледж их деткам! Мистер Пийз покраснел, как перец. Даже его потная лысина стала красней красного.

– Прошу вас, миссис Сент-Джордж, – говорит он и, кажется, вот-вот заплачет. – Уверяю вас, мы поступили не только вполне законно, но и в точном соответствии с банковской практикой...

Тут я понизила голос, и злость во мне вдруг начала угасать. Джо меня провел, и еще как! И мне не требовалось второго раза, чтоб сказать, что весь стыд – мой.

– Может, это законно, а может, и нет, – говорю. – Чтоб точно узнать, придется вас в суд тащить, верно? А у меня на это ни времени, ни денег нет. Да и ведь меня доводит не то, что тут законно, а что нет... А то, что вам даже в голову не пришло, а может, кого-то еще заботят эти деньги. Или «банковская практика» не позволяет вам хоть разочек позвонить по чертову телефону? Номер-то – вот он, на всех этих листах, и он не изменился.

– Миссис Сент-Джордж, я крайне сожалею, но...

– А будь наоборот, – говорю, – приди я с басенкой, что книжки пропали, и попроси новые, начни я забирать то, что одиннадцать-двенадцать лет копилось... разве б вы не позвонили Джо? Будь деньги на месте сегодня и забери их я, как собиралась, разве бы вы не позвонили ему, едва я вышла бы за дверь? Сообщить ему – из чистой любезности, – что сделала его жена, так?

Я ведь этого и ждала, Энди. Потому и выбрала день, когда он уплыл со

Стардиллами. Я думала вернуться на остров, взять детей, и наш бы след простыл, когда Джо подошел бы к двери с банкой пива в одной руке и обеденным бидончиком в другой.

Пийз посмотрел на меня и открыл рот. Потом снова закрыл и ничего не сказал. Ответ был написан у него на лице. Уж конечно, он – или кто-нибудь еще из банковских – позвонил бы Джо и звонил бы, звонил, пока не дозвонился. А почему? А потому что Джо был глава семьи, вот почему. Меня известить никто не подумал, потому что я-то была только его жена. И ничего в деньгах понимать не могла – только наскребала их, моя полы, оттирая плинтусы и унитазы. Если глава семьи решил забрать все деньги, скопленные для его детей на колледж, значит, у него должна быть на эта чертовски важная причина, а и нет ее – не имеет значения, он же глава дома и всем распоряжается. А его жена просто при нем, и ее дело – плинтусы, унитазы да обед из курицы в воскресенье.

– Если возникли какие-то проблемы, миссис Сент-Джордж, – говорит Пийз, – мне очень жаль, но...

– Если вы еще раз скажете, что вам жаль, я вам так наподдам в задницу, что у вас горб вырастет, – говорю, да только бояться ему было нечего. В ту минуту у меня силенок не хватило бы пнуть пивную банку через дорогу. – Скажите мне только одно, и я от вас отстану. Деньги истрачены?

– Откуда мне может быть это известно? – спрашивает он таким возмущенным голоском, будто я пообещала показать ему свою, если он мне покажет свой.

– С этим банком, – говорю, – Джо дело имел всю свою жизнь. – Он мог бы съездить в Мейкьяс или Колумбия-Фоллс и выбрать какой-нибудь тамошний банк, но он этого не сделал – слишком уж он тупой, ленивый и не любит ничего менять. Нет, либо он запихнул их в пару банок и закопал, либо сюда же назад и положил. Вот это я и хочу узнать: открыл мой муж у вас новый счет в последние два месяца? (Только, Энди, было-то это не «я хочу», а «мне необходимо знать»). Оттого, что он меня надул, меня прямо затошнило, и очень скверно мне стало, но меня просто убивала мысль, что вдруг он их где-нибудь уже просрал.)

– Открыл ли он... Тайна вкладов нерушима! – говорит он, да так, будто я обещала потрогать евонный, если он потрогает мою.

– А-а! – говорю. – Так я и думала. Я прошу вас нарушить правило. На вас только взглянуть – и видно, что вы не часто такое допускаете. Видно, что вам это поперек горла встает. Но, это же деньги моих детей, мистер Пийз, а он соврал, чтоб их прикарманить. Вы же знаете – доказательство-то

вот оно, у вас на столе. И от вранья ему толку бы не было, если бы у этого банка – вашего банка! – хватило бы любезности на один-единственный телефонный звонок.

Он откашливается и заводит свое:

– Мы не обязаны...

– Да знаю я, что вы не обязаны, – говорю. Так мне хотелось ухватить его за шиворот и встряхнуть хорошенько! Но я понимала, что толку от этого не будет – не такой это человек. Да и мама всегда повторяла, что на мед куда больше мух поймаешь, чем на уксус, и я давно убедилась, что оно так и есть. – Я знаю, но подумайте, от какого горя и мучений вы б меня избавили этим звонком! И если вы захотели бы хоть немножко поправить дело – не потому, что должны, а потому, что захотели, – то, пожалуйста, скажите мне, открыл ли он здесь новый счет или мне надо начинать рыть землю вокруг моего дома. Ну, пожалуйста! А я никому про это не скажу. Господом Богом клянусь!

Сидит смотрит на меня и барабанит пальцами по трем этим зеленым листам. Ногти чистые, ухоженные, словно бы он маникюр у профессионала делал – только навряд ли, говорим-то мы о Джонспорте в шестьдесят втором году. Думается, их ему жена в порядок приводила. И чистенькие эти ногти глухо так постукивали, когда опускались на бумагу, и я подумала: ничего он для меня не сделает, не такой он человек. Какое ему дело до жителей острова и их бед? Задница у него хорошо защищена, а на остальное ему плевать.

Ну и когда он заговорил, мне стыдно стало из-за всего, что я о мужчинах вообще думала, а о нем – особо.

– Я не могу выяснить этот вопрос, пока вы сидите тут, миссис Сент-Джордж, – говорит он. – Почему бы вам не пойти в «Веселый буюк» и не выпить чашечку кофе со сдобой? По вашему лицу видно, что вам не помешает подкрепиться. Я присоединюсь к вам через четверть часа... точнее, через полчаса.

– Спасибо, – говорю. – Огромное вам спасибо.

Он вздохнул и начал собирать листы.

– Я, видимо, начинаю с ума сходить, – сказал он и нервно так усмехнулся.

– Нет, – говорю я ему. – Вы помогаете женщине, которой нигде больше помощи не найти.

– Помогать несчастным красавицам всегда было моей слабостью, – говорит он. – Дайте мне полчаса, а может быть, и чуть больше.

– Но вы придете?

– Да, – говорит он. – Приду.

И пришел. Правда, не через полчаса, а почти через сорок пять минут, и когда он наконец вошел в «Бук», я уж уверилась, что он для меня палец о палец не ударит. А тут мне по его лицу показалось, что ничего хорошего я от него не услышу. Так он выглядел.

Он постоял в дверях, осмотрелся, нет ли в кафе кого-нибудь, кто мог бы ему неприятность устроить, если б увидал нас вместе после бучи, которую я подняла в банке. Потом подошел к угловой нише, где я сидела, проскользнул за столик напротив меня и сказал:

– Они все еще в банке. Во всяком случае, значительная часть. Почти три тысячи долларов.

– Слава тебе, Господи, – говорю.

– Это, – говорит он, – хорошая сторона. А плохо то, что новый счет открыт только на его имя.

– Ну а как же! – говорю. – Он же не давал мне новой сберегательной книжки, чтоб я в ней расписалась. Я б тогда сразу поняла, что он затеял, верно?

– Многие женщины ни о чем не догадались бы, – говорит он, откашлялся, подергал галстук и быстро оглянулся на дверь, кто это колокольчиком звякнул. – Многие женщины без разговора подписывают все, что им дают подписать мужья.

– Ну, я не многие, – отвечаю.

– Я уже заметил, – говорит он, суховато так. – В любом случае я исполнил вашу просьбу, и мне необходимо вернуться в банк. Очень сожалею, что у меня нет времени выпить с вами кофе.

– Знаете, – говорю, – вот этому мне что-то не верится.

– Правду сказать, мне тоже, – отвечает. Но руку пожать мне протянул, будто я мужчина, и я это за комплимент сочла. Я все сидела, смотрела ему вслед. Девушка подошла и спросила, не хочу ли я еще чашку кофе. Нет, спасибо, говорю. У меня уже от первой несварение желудка сделалось. Так оно и было, да только не из-за кофе.

Человек всегда найдет, чему порадоваться, что бы там ни случилось, и на обратном пути я радовалась, что никаких вещей не собрала, так что не придется мне ничего на место убирать. И еще радовалась, что ничего Селене не сказала. Я хотела, но потом передумала: боялась, что такой секрет она сохранить не сумеет – выболтает подружке, а там, глядишь, и до Джо дойдет. Мне даже приходило в голову, что она может упереться и сказать, что не поедет. Особенно-то я такого не ждала: уж очень она вся сжималась, когда Джо к ней близко подходил, ну, да от девочки-подростка

всего можно ждать, и ничего заранее не угадаешь.

Так что кое-что не совсем черным было, но вот что мне дальше делать, я не знала. Снять деньги с общего моего с Джо счета? Так на нем долларов сорок шесть лежало, а уж приходно-расходная книжка – и вовсе курам на смех; если мы еще на задолжали, то на самом краешке висели. А просто хватать детей и мчаться куда-то сломя голову я не собиралась, нет уж, сэр, нет уж, мэм! Поступи я так, Джо назло мне спустил бы все деньги. Мне это было ясно как Божий день. И так уже триста долларов он промотал, если мистер Пийз не ошибся... А из трех оставшихся тысяч две с половиной я в банк внесла – заработала их, отмывая полы, протирая окна и развешивая простыни проклятой стервы Веры Донован – шесть защипок, не четыре! – все лето напролет! Конечно, зимой, как потом оказалось, это было куда трудней, но все равно не в кино сходить и не по парку прогуляться.

Что я детей увезу, это я твердо решила, но уехать без гроша – это нет! Я хотела, чтоб мои дети свои деньги получили. Возвращаясь на остров, я стояла на носу «Принцессы», а свежий морской ветер разбивался о мое лицо на две струи, сдувал волосы с висков, и я знала, что сумею вырвать у него эти деньги. Вот только не знала как.

Жизнь шла своим чередом. Если не вглядываться, то ничего вроде бы и не изменилось. На острове никогда ничего вроде бы не меняется... если не вглядываться. Но в жизни всякого куда больше, чем кажется на первый взгляд, а для меня, во всяком случае в ту осень, то, что кроется под поверхностью, казалось совсем другим. Изменилось то, как я видела все, и, наверное, это было главным. И я уже не о третьем глазе говорю. К тому времени, когда бумажная ведьма Малыша Пита была снята, а его картинки с индюшками и пилигримами убраны, я уже увидела все, что мне требовалось, моими естественными глазами.

Например, как сально, по-свинячьи, Джо посматривал на Селену, когда она была в халатике, или как он смотрел на ее задок, когда она нагибалась взять посудное полотенце из-под мойки. То, как она обходила его стороной, когда он сидел в кресле, а ей надо было пройти через гостиную, чтоб подняться к себе в комнату, как она старалась, чтоб их руки не соприкоснулись, когда за ужином передавала ему тарелку. У меня сердце надрывалось от стыда и жалости, и в таком я бешенстве была, что меня тошнота мучила. Он же был ее отцом. Господи помилуй! В ее жилах текла его кровь, у нее были его черные ирландские волосы и короткие мизинцы, и все-таки глаза у него прямо из орбит выскакивали, если у нее бретелька с плеча сползала.

И я видела, как Джо Младший его стороной обходит, а на его вопросы

старается не отвечать, а если уж промолчать никак нельзя, только буркает что-то. Помню день, когда Джо Младший принес мне свой доклад о президенте Рузвельте, когда его ему учительница вернула. Она поставила ему высшую оценку с плюсом, на первом листе написала, что такую оценку она за двадцать лет своей работы в школе ставит в первый раз и думает даже, что его могут напечатать в газете – так он хорош. Я спросила Джо Младшего, может, он пошлет его в элсуортский «Америкен» или в Бар-Харбор, в «Таймс», почтовые расходы я заплачу. А он только головой мотнул и засмеялся. Не очень мне этот смех понравился – злой такой, бездушный, как у его отца.

– И чтоб он полгода мне прохода не давал? – спрашивает. – Нет уж, спасибо! Разве ж ты не слышала, как он его называет «Франклин Д. Жидвельт?»

Как сейчас его вижу, Энди: всего двенадцать, а уже почти на шесть футов вверх вымахал, стоит на заднем крыльце, руки в карманы засунул и смотрит на меня сверху вниз, а я держу его доклад с высшей оценкой и плюсом вдобавок. Помню, как уголки его рта изогнула улыбка. Только в улыбке этой не было радости, не было веселья и доброты. Это была улыбка его отца, хоть мальчику бы я это ни за что не сказала.

– Из всех президентов он больше всех Рузвельта ненавидит. – Вот что он мне сказал. – Я потому и выбрал его для доклада. А теперь, пожалуйста, отдай доклад, я его в печке сожгу.

– И не думай, Солнышко Джим, – говорю. – А если хочешь почувствовать, как собственная мать тебя через перила во двор сбросит, попробуй его у меня отнять!

Он пожал плечами. Опять, как Джо, но улыбка у него стала шире и сразу такой приятной, какая его отцу и не снилась.

– Ладно, – сказал он. – Только ему не показывай, ладно?

Я сказала, что не покажу, и он убежал стрелять по корзинкам со своим дружкой Рэнди Джигером. Я смотрела ему вслед, сжимала его доклад и думала про то, что сейчас произошло – у него со мной. И я думала о том, что такую отметку учительница только раз поставила за двадцать лет, а он заслужил ее, выбрав для доклада президента, которого его отец ненавидел больше всех остальных.

А еще Малыш Пит всегда расхаживал, вертя задницей и выпятив нижнюю губу, обзывал людей жидами, и три дня из каждых пяти его оставляли в школе после уроков за баловство. Один раз мне пришлось сходить за ним, потому что он подрался и стукнул другого мальчика так, что у него из уха кровь потекла. А что ему вечером отец сказал?

– Теперь он, как тебя увидит, будет знать, чего схлопочет, а, Пит?

Я видела, как у мальчика глаза засияли, когда Джо это сказал, и видела, как ласково Джо отнес его в постель через час-полтора. Осенью этой я будто способна была видеть ну прямо все на свете... кроме одного, чего больше всего хотела, – как от него избавиться.

И знаете, кто под конец мне ответ подсказал? Вера. Во-во – Вера Донован самолично. Кроме меня, только она одна знала, что я сделала – до этой минуты то есть. И сама мне подсказала.

Все пятидесятые Донованы – во всяком случае, Вера с детьми – были среди летних приезжих самыми постоянными: приезжали в День Памяти[1], а уезжали в канун Дня Труда. Уж не знаю, можно было бы по ним часы сверять, а вот календарь – это уж точно. В среду после их отъезда я отправлялась в дом с целой командой уборщиц наводить порядок с носа до кормы. Мыли, чистили, постели разбирали, чехлы на мебель надевали, детские игрушки подбирали, а всякие головоломки в подвале складывали. К шестидесятому году, когда мистер скончался, в подвале головоломок этих больше трехсот набралось – картонные коробки так стопками и плесневеют. Полную уборку я производила, потому как знала, что до Дня Памяти дом почти наверняка так запертый и простоит.

Исключения, правда, были. В год рождения Малыша Пита они приехали День Благодарения[2] на острове провести – дом-то был полностью для зимы приспособлен, – мы только дивились, зачем бы? Ну, да от летних приезжих чего и ждать. А еще через пару-тройку лет они на Рождество пожаловали. Помню, дети Донованов взяли Селену с Джо Младшим кататься на санках с горки и как Селена домой через три часа на Утреннем холме прибежала – вся разругалась, а глаза блестят почище брильянтов. Ей тогда восемь было, девять от силы, но она все равно в Дональда Донована по уши втюрилась, я сразу увидела.

Вот, значит, один год они на острове День Благодарения провели, а в другой год – Рождество, и только. Они ведь летними приезжими были... то есть Майкл Донован и его дети. А Вера, хоть и нездешняя, под конец настоящей островитяжкой стала – не хуже меня. А может, и лучше.

В шестьдесят первом все вроде бы началось, как прежде, хоть ее муж и погиб в автомобильной катастрофе в прошлом году. Она с детьми приехала в День Памяти, и Вера опять принялась вязать, решать головоломки, собирать ракушки, курить сигареты и соблюдать свой особый – Веры Донован – час для коктейлей, который начинался в пять, а кончался эдак в половине десятого. Только было все это не таким, как прежде, даже я замечала, а я ведь приходящей прислужгой была, и только. Дети словно бы

притихли, замкнулись в себе – все еще об отце горевали, должно быть, а Четвертого июля, когда они втроем обедали «У порта», так совсем переругались. Помню, Джимми Де Витт – он тогда там официантом работал – рассказывал, что вроде бы спор из-за машины вышел.

Так или не так, а дети на другой день уехали. Красавчик отвез их на материк в ихнем катере, а там, думается, о них еще какая-нибудь наемная прислуга позаботилась. С тех пор я ни его, ни ее не видела. А Вера осталась. Видно было, что плохо ей, но она осталась. В то лето к ней было лучше не подходить. Не меньше шести горничных переменяла до Дня Труда, и когда я увидела, как «Принцесса» с ней отчалила, так подумала, что в следующее лето мы ее не увидим, а может, и подольше. Свои прорехи с детьми она залатает, как же иначе? Ведь, кроме них, у нее никого нет, а раз им Литл-Толл надоел, она сделает по-ихнему, и на лето поедут они куда-нибудь еще. Как-никак подходило их время, и деваться от этого ей некуда было.

Из чего видно, как плохо я тогда знала Веру Донован. В таком она никого, кроме себя, не признавала – ну прямо петух на куче дерьма. Приехала на дневном пароме в День Памяти – одна приехала – и оставалась безвыездно до Дня Труда. Приехала одна, доброго слова не находила ни для меня, ни для кого еще, пила больше всегдашнего и выглядела похуже тетушки-смерти, но она приехала, и осталась, и решала свои головоломки, и спускалась – теперь совсем одна – на пляж собирать ракушки, как всегда прежде. Как-то она сказала мне, что Дональд и Хельга, наверное, проведут август в «Соснах» (так они всегда дом на острове называли, да ты и сам знаешь, Энди, а вот Нэнси навряд ли), но они так и не приехали.

Вот с шестьдесят второго она и заладила приезжать после Дня Труда. Позвонила мне в середине октября и попросила привести дом в жилой вид, что я и сделала. Она прожила три дня – красавчик приехал с ней и жил в комнатах над гаражом, – а потом взяла и уехала. А перед тем позвонила мне и велела, чтоб Даги Тэпперт проверил отопление и чтоб чехлы на мебель не надевать.

– Теперь, когда дела моего мужа полностью приведены в порядок, – сказала она, – вы будете меня чаще видеть, Долорес. Может, чаще, чем вам по вкусу. И, надеюсь, моих детей тоже.

Но было в ее голосе что-то, отчего я думаю, что она даже и тогда знала, что это пустые мечты.

В следующий раз она приехала в конце ноября, через неделю после Дня Благодарения или около того, и сразу же позвонила мне, чтоб я все

пропылесосила и застелила кровати. Дети с ней, конечно, не приехали – в школе уже начались занятия, – но она сказала, что вдруг они захотят в последнюю минуту провести конец недели с ней, чем оставаться в школе. Может, она не очень-то в это верила, но Вера в душе была девчонкой-скаутом, хотела всегда быть готовой, что так, то так.

Я сумела сразу прийти – на острове для людей вроде меня в смысле работы наступил мертвый сезон. Я добралась туда под холодным дождем – голову наклонила, а думала, как всегда в те дни, что с детскими деньгами случилось, и из себя выходила. С моей поездки в банк почти месяц прошел, и мысли эти душу мою разъедали, как аккумуляторная кислота твою одежду разъест или кожу, если попадет на них.

Мне кусок в горло не шел, больше трех часов спать не могла – тут же меня кошмары будили, чуть собственное белье менять не забывала. А в голове все время стучит, как Джо к Селене подбирался и как он деньги забрал из банка, и опять начинаю думать, каким бы способом их назад заполучить. Я понимала, что надо на время перестать об этом думать, и тогда, может, соображу что-нибудь или вдруг ответ сам собой отыщется, но только ничего у меня не получалось. Вот даже и отвлекусь, но чуть что – и снова в эту яму проваливаюсь. Меня как заклинило, ну просто с ума свихивалась – вот, наверное, настоящая причина, почему я взяла да и выложила Вере все, что случилось.

И ведь я даже не думала ей что-нибудь говорить. С того самого времени, как она заявила на остров в мае после смерти мужа, злость в ней так и кипела – ну прямо львица с занозой в лапе, так зачем мне нужно было душу выворачивать перед женщиной, которая огрызалась направо и налево, будто весь мир только и думает, как бы ее обосрать. Но в тот день, когда я пришла, настроение у нее наконец переменялось.

Она на кухне прихлопывала к пробочной доске для объявлений, висевшей на стене у двери в кладовую, статью, которую вырезала из первой страницы бостонской «Глоуб». Она говорит:

– Посмотри, Долорес! Если нам повезет и погода будет хорошей, то в следующее лето мы увидим нечто необычайное!

Заголовок этой статьи я и теперь слово в слово помню, хоть уже столько лет прошло: потому что прочла я его, и словно что-то во мне перевернулось. «ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕТО ПОГРУЗИТ ВО ТЬМУ НЕБЕСА НА СЕВЕРЕ НОВОЙ АНГЛИИ» – вот что в нем говорилось. И маленькая карта, а на ней показано, какая часть Мэна окажется на пути затмения, и Вера на ней красным кружком пометила Литл-Толл.

– А следующее будет только в конце следующего века, – говорит она. – Может, его увидят наши правнуки, Долорес, но нас-то уже давно на свете не будет... так уж этого мы упустить не должны!

– Наверняка весь тот день дождь будет лить как из ведра, – отвечаю первое, что на ум взбрело, и сразу подумала, что Вера в черных-то ее настроениях после смерти мужа сейчас меня отчитает. Но она только засмеялась и пошла наверх, напевая. Помню, я еще подумала, что погода у нее в голове и вправду переменялась. Не только она напевала, но и от похмелья вроде бы не мучилась.

Часа так через два меняла я белье на ее кровати, той самой, в которой она потом столько времени пролежала совсем беспомощная. А тогда она у окна сидела и плед вязала и все напевает да напевает. Отопление включено было, но дом еще не прогрелся, – домам этим, хоть они на зиму и утеплены, уж не знаю, сколько времени требуется, чтоб прогреться, – так она в розовую шаль куталась. К тому времени с запада ветер задул, и дождь хлестал по стеклам рядом с ней, будто в них песок пригоршнями швыряли. А я как взгляну на окно, так вижу: в гараже свет горит – значит, красавчик расслаивает у себя в комнате, точно мышь в сыре.

Я как раз простыню под матрас подворачивала – чтоб Вера Донован да спала на простынях, у которых углы по матрасу как чехол защиты? Еще чего! Уж очень было бы просто постель застилать. Подворачиваю и ни про Джо, ни про детей отчего-то не думаю. И тут у меня начинает трястись нижняя губа. Прекрати, говорю я себе. Сию же минуту прекрати. А она не прекращает. Тут и верхняя принялась чечетку отбивать. Глаза слезами налились, ноги подкосились, села я на кровать и заплакала.

Да нет же, нет.

Уж раз я всю правду рассказать решила, так чего по мелочам врать? Я ведь не просто плакала, а передник на лицо набросила, да как завою в голос. От всех этих моих мыслей я измучилась и вконец запуталась. А сколько недель уже толком не спала? И ну совсем не понимала, что мне дальше делать. А в голове сверлит: а ведь не так, Долорес, а ведь ты все-таки о Джо и детях думала. Так оно и было, конечно. До того дошло, что я больше ни о чем думать не могла, потому-то я и разревелась.

Уж не знаю, сколько я плакала, знаю только, что, когда перестала, лицо у меня все соплями было вымазано, нос заложило, и я еле дышала, будто вперегонки бегала. И боюсь передник с лица скинуть: Вера-то, конечно, скажет: «Ну и спектакль, Долорес! В пятницу получишь расчет. Кеннопенски... Это фамилия красавчика была, Энди, я только сейчас вспомнила... выдаст тебе конверт с деньгами». Это бы в ее духе было. Да

только в ее духе что угодно быть могло. С Верой никогда угадать нельзя было, даже в те дни, до того, как мозги у нее совсем раскисли.

Когда я наконец передник с лица сдернула, гляжу: она сидит себе с вязаньем у окна и смотрит на меня, будто я муха какая-то новая и интересная. Помню, как у нее по лбу и щеке ползли тени от дождя, стекавшего по стеклам.

– Долорес, – говорит она, – пожалуйста, скажи, неужто ты снова позволила, чтобы подлец, с которым ты живешь, опять тебя обработал?

Сначала я даже не поняла, о чем она. Когда она сказала «обработал», мне сразу вспомнился вечер, когда Джо меня поленом ударил, а я его потом сливочником. Но тут до меня дошло, и я захихикала. И уже хохочу во весь голос, как ревела, и тоже остановиться не могу. Понимаю, что больше от ужаса – чтоб опять от Джо забеременеть, хуже и придумать было нельзя, а что мы с ним больше не занимались тем, отчего дети родятся, ничего не меняло, – но все едино, не могу перестать.

Вера посмотрела на меня еще секунду-другую, а потом опять взялась за вязание, будто ничего и не было. Даже снова напевать принялась. Будто для нее самое привычное дело, что прислуга сидит на ее незастеленной постели и воет, как волк на луну. Если так, то в Балтиморе прислуга у Донованов была – поискать.

Ну, тут смех опять перешел в слезы, как дождь вдруг ненадолго переходит в снег во время зимних шквалов, если ветер повернет. Наконец они прекратились, и я просто сидела на ее кровати, обессиленная совсем, да и стыдно мне было... Но и очистилась я словно бы.

– Прошу у вас прощения, миссис Донован, – говорю. – Правда.

– Вера, – говорит она.

– Извините? – переспрашиваю я.

– Вера, – повторяет она. – Я требую, чтоб все женщины, которые закатывают у меня в спальне истерики, называли меня после этого Верой.

– Просто не знаю, что на меня нашло, – сказала я.

– О? – говорит она. – А по-моему, очень хорошо знаешь. Умойся, Долорес, а то лицо у тебя такое, будто ты его в пюре из шпината вымазала. Можешь воспользоваться моей ванной.

Я пошла туда умыться и оставалась там очень долго: по правде сказать, мне страшновато было выйти. О том, что она меня уволит, я думать перестала сразу, как она велела мне называть ее Верой, а не миссис Донован, – с теми, кого хотят выставить вон через пять минут, так не обходятся, – но я не знала, что она устроит. Она ведь бывала очень злой, скажу я вам; если вы до сих пор из моего рассказа этого не сообразили,

значит, я зря время теряла. Она умела очень здорово хлестнуть, когда и куда ей взбрело в голову. Наотмашь била.

– Ты не утонула, Долорес? – окликнула она, и тут уж тянуть нельзя было. Я завернула кран, утерлась и вернулась к ней в спальню. И опять начала извиняться, но она только отмахнулась, но по-прежнему смотрит на меня, как на невиданную муху.

– Знаешь, ты меня до того удивила, что я чуть в штаны не наложила, – говорит она. – Столько лет я тебя знаю, но не представляла, что ты умеешь плакать. Даже начала думать, что ты каменная.

Я что-то пробормотала, что сплю плохо.

– Это я вижу, – говорит она. – Под глазами у тебя два голубых Пикассо, а в руках появилась пикантная дрожь.

– Что у меня под глазами? – спросила я.

– Не важно, – говорит. – Скажи мне, что случилось. Я только одно объяснение могла найти такому внезапному взрыву – что ты попала. Да и сейчас других не нахожу, должна признаться. Так что, Долорес, просвети меня.

– Не могу, – отвечаю и чувствую, что все это сорвется и ударит меня, как заводная ручка старой модели «форда» моего отца, если за нее не так брались. Если не поостерегусь, то вот-вот опять завою у нее на кровати под передником.

– Можешь и расскажешь, – говорит Вера. – Не рыдать же тебе весь день! У меня голова разболится, и мне придется глотать таблетки, а я их терпеть не могу: они мне желудок раздражают.

Я села на краешек кровати и посмотрела на нее. Открываю рот и не знаю, что я говорить-то буду. И слышу:

– Мой муж примеривается трахнуть собственную дочку, а когда я пошла в банк взять деньги, отложенные детям на колледж, чтоб увезти ее и ребят, оказалось, что он все до последнего цента забрал. Нет, я не каменная. Никакая я не каменная!

Тут я опять заплакала, но уже потише и не стараясь прятаться под передником. А когда поуспокоилась и только всхлипывала, она сказала, чтоб я рассказала ей все с самого начала, ничего не пропуская.

Ну я и рассказала. Никогда бы не поверила, что способна буду рассказать все это хоть кому-то, а уж Вере Донован – тем более. С ее-то деньгами и домом в Балтиморе, с ее ручным красавчиком, которого она держала при себе не только, чтоб он на ее машину глянец наводил, а вот рассказала и чувствовала, что от каждого слова на сердце у меня легчает. Все выложила, как она и велела.

– Вот я и завязла, – сказала я под конец. – Просто не знаю, как мне с этим подлюгой разделаться. Конечно, можно просто забрать детей, уехать с ними на материк и подыскать какое-никакое место. Я тяжелой работы никогда не боялась, да не в том дело!

– Тогда в чем? – спрашивает она, а плед, гляжу, уже почти кончен. Таких быстрых пальцев, как у нее, я больше не видела.

– Он все натворил, что мог, – говорю. – Только вот собственную дочь пока не изнасиловал. Но так ее напугал, что она, глядишь, никогда до конца в себя не придет, и за свои пакости выплатил себе в награду без малого три тысячи долларов. Этого я ему спустить не собираюсь. Вот в чем дерьмовое дело.

– Да? – говорит она мягким своим голосом, а спицы пощелкивают, а по стеклам дождевые струи катятся, и по ее щеке и лбу извиваются тени, будто черные жилы. Гляжу на нее и вдруг вспомнила сказку, что мне бабушка рассказывала о трех сестрах, которые живут среди звезд и вяжут наши жизни... Одна нити прядет, другая держит, а третья каждую нить обрезает, когда захочет. Третью, по-моему, Атропос звали; может, я и путаю, но только от этого имени меня всегда мороз по коже дерет.

– Да, – отвечаю, – но, провалиться, не знаю я, как с ним по всем его заслугам рассчитаться.

Спицы щелк-щелк-щелк. Рядом с ней чашка чая стояла, тут она вязанье положила и отпила глоток. Потом-то пришло время, когда она чай через правое ухо пить пробовала или на голову себе вместо шампуня наливала, но в ту осень шестьдесят второго ум у нее был поострее опасной бритвы моего папаши. Посмотрела она на меня и словно просверлила глазами насквозь.

– А что хуже всего, Долорес? – спросила она наконец, поставила чашку и взяла вязанье. – Что, по-твоему, хуже всего? Не для Селены, не для мальчиков, а для тебя, тебя самой?

Тут мне и задуматься не пришлось.

– Он, подлюга, смеется надо мной, – говорю. – Вот что для меня хуже всего. По его лицу видно. Я ему слова не сказала, только он все равно знает, что я в банке была. И знает, что я там узнала.

– Ну а если это тебе только чудится? – говорит она.

– Да плевать мне! – Я прямо закричала. – Раз я так чувствую, не важно, что там на самом деле.

– Согласна, – говорит. – Важно, что и как чувствуешь ты. Продолжай, Долорес.

То есть как «продолжай»? Я же все до дна выскребла! Но только я

собралась ей это сказать, как одно выскочило, будто чертик из коробки.

– Он бы живо смеяться перестал, – говорю, – если б знал, как я пару раз его часы чуть было насовсем не остановила.

А она сидит, смотрит на меня, а темные узенькие тени извиваются одна за другой на ее лице, наползают на глаза, так что в них и не прочесть ничего... И опять мне померещились сестры, прядущие среди звезд. Особенно та, с ножницами.

– Я боюсь, – говорю. – Не его, а себя. Если не забрать от него детей в самом скором времени, скверно будет. Уж я знаю. У меня внутри что-то прячется и день ото дня сильнее делается.

– Глаз? – спрашивает она, и такой меня ужас обуял! Будто она отыскала окошко у меня в черепахе, да и заглянула прямо в мои мысли. – Что-то вроде глаза?

– Вы-то откуда знаете? – шепчу я, а у самой мурашки по коже бегают и даже дрожь прошибла.

– Знаю, – отвечает и вяжет следующую дорожку. – Я про это знаю все, Долорес.

– А-а-а... Я его прикончу, если не остерегусь. Вот чего я боюсь. И тогда смогу про деньги забыть. И про деньги, и про все-все.

– Чушь, – говорит она, а спицы щелкают, щелкают. – Мужья, Долорес, каждый день умирают. Почти наверное, пока мы сидим тут и разговариваем, где-то чей-то муж скончался. Они умирают и оставляют свои деньги женам. – Она кончила дорожку и посмотрела на меня, но я все равно не рассмотрела, что в ее глазах. Из-за дождевых теней. Они все ползли и извивались по всему ее лицу, точно змеи. – Мне ли не знать? Верно? – говорит она. – В конце-то концов подумай, что с моим случилось.

Я не смогла ответить. Язык у меня к небу прилип, что жук к мушиной ленте.

– Несчастный случай, – говорит она четко, будто учительница, – иногда бывает лучшим другом несчастной женщины.

– О чем это вы? – спрашиваю. Тихим таким шепотом, а сама удивляюсь, что вообще заговорить сумела.

– Да о том, о чем ты думаешь, – отвечает. И ухмыльнулась, не улыbnулась, а именно что ухмыльнулась. И правду сказать, Энди, от ухмылки этой кровь у меня в жилах застыла. – Просто помни: что твое – то его, а что его – то твое. Например, если с ним произойдет несчастный случай, деньги на его счете станут твоими. Таково требование закона в нашей великой стране.

Ее глаза прямо впились в мои, а тут тени на секунду пропали, и я

заглянула в самую их глубину. И сразу отвела их – такое я там увидела. Посмотреть на нее, Вера была с виду такой холодной, как малыш на льдине, но внутри температура куда жарче была, такая, какая бывает в самом сердце лесного пожара. И чересчур жаркая, чтоб такие, как я, могли долго туда заглядывать, это уж точно.

– Закон – великая вещь, Долорес, – говорит она. – А когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже великая вещь.

– Так вы говорите... – начала я, не то чтоб шепотом, но не намного громче.

– Я ничего не говорю, – отвечает она. В те дни, когда Вера решала, что тема исчерпана, она ее захлопывала, точно книгу. Сложила вязанье в рабочую корзинку и встала. – Впрочем, одно я тебе скажу: постель эта так и не будет постелена, пока ты на ней сидишь. Я спущусь в кухню и поставлю чайник. Может быть, когда ты здесь кончишь, то придешь попробовать яблочный пирог, который я привезла с материка. А если тебе особенно повезет, я, того и гляди, добавлю шарик ванильного мороженого.

– Ладно, – говорю, а у самой мысли мешаются, и только одно мне ясно было: что кусок пирога из джонспортовской пекарни будет для меня в самый раз. Впервые за четыре недели с лишним мне вдруг есть захотелось – хоть одна польза от того, что я душу облегчила.

Вера дошла до двери, а там обернулась и посмотрела на меня.

– Никакой жалости, Долорес, – говорит, – я к тебе не чувствую. Ты мне не сказала, что была беременна, когда выходила за него, да этого и не требовалось: даже такая тупица в математике, как я, все-таки умеет складывать и вычитать. Ты на третьем месяце была?

– На шестой неделе, – отвечаю снова шепотом. – Селена родилась чуть до времени.

Она кивает.

– А что делает юная порядочная американочка, когда попадаетея? Естественно, самое очевидное... но те, кто венчается в спешке, потом довольно часто каются на досуге, в чем ты, видимо, убедилась на опыте. Жаль, твоя святая матушка не научила тебя этому присловью, а заодно и тому, что у каждой картофелины свой глазок есть, а дурная голова ногам покоя не дает. Но я тебе еще одно скажу: хоть ты все глаза под передником выплачешь, цветочка твоей дочери это не спасет, если вонючий старый козел всерьез к нему подбирается, и денег твоих детей тоже, если он всерьез их потратить решил. Но с мужчинами, особенно пьющими, действительно всякое порой случается. С лестниц падают, об угол ванны лоб разбивают и захлебываются, а иногда тормоза их «БМВ» отказывают, и

они врезаются в дерево, торопясь домой из квартир их любовниц в Арлингтон-Хейтс.

Тут она вышла и дверь за собой закрыла. Я застелила постель, а сама все над ее словами раздумывала... Когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже может быть великой вещью. И увидела я то, что с самого начала у меня под носом было. Я б и раньше сообразила, да только мысли у меня в слепом страхе метались, будто воробышек по чердаку.

К тому времени, когда мы доели пирог и она ушла наверх вздремнуть, мне уже ясно было, что сделать это я могу. Мне хотелось отделаться от Джо, мне хотелось вернуть детские деньги, но больше всего мне хотелось, чтоб он заплатил за все, что нам сделал... а Селене – особенно. Если с подлецом несчастный случай произойдет... какой нужно... все по-моему и сбудется. Деньги, которые я не могу получить, пока он жив, станут моими, чуть он умрет. Деньги он втихую увел, а вот втихую завещания, чтоб я их не получила, сделать не догадался. Дело тут не в мозгах было – то, как он забрал деньги, показало мне, что он куда хитрее, чем мне думалось, – а в том, как его мозги работали. Сдается мне, в глубине души Джо Сент-Джордж просто не верил, что и ему когда-нибудь придется умереть.

Ну и все отойдет назад мне, как его жене.

К тому времени, когда я ушла из «Сосен» в этот день, дождь перестал, и домой я шла медленней медленного. И еще полдороги не прошла, как начала думать про заброшенный колодец позади сарая.

Дома никого не было – мальчики ушли куда-то играть, а Селена оставила записку, что она у миссис Деверо со стиркой помогает... В те дни она все простыни из отеля «У порта» стирала, знаете ли. А где Джо был, я понятия не имела, да и не интересовалась. Важно было, что он на грузовике уехал, а глушитель на честном слове держался, так что я должна была задолго услышать, что он домой возвращается.

Постояла я, поглядела на записку Селены. Странно, как вот такие мелочи вдруг заставляют человека решиться – так сказать, перейти от «можно бы» да «пожалуй» к «сделаю». Даже теперь я твердо не скажу, вправду ли я решила убить Джо, когда вернулась от Веры Донован в тот день. Колодец осмотреть я решила, верно, но ведь это могло быть вроде понарошку, ну, как дети играют – что будет, если... Не оставь Селена той записки, может, я бы ничего и не сделала... И, Энди, как бы все ни кончилось, вот про это Селена знать не должна.

Записка была примерно такой: «Мам, я пошла к миссис Деверо с Синди Бэбкоб помочь со стиркой отельного белья – к ним на праздники съехалось много больше людей, чем они ожидали, а ты знаешь, как

миссис Д. артрит замучил. Когда она позвонила, по голосу слышно было, что бедняжка совсем голову потеряла. Вернусь помочь с ужином. Целую и люблю. Селена».

Я знала, что вечером Селена принесет долларов пять, много – семь, но радоваться им будет, точно сотне. И будет рада опять туда пойти, если миссис Деверо или Синди позвонят ей, а если ей предложат летом работать в отеле горничной неполный день, она, конечно, начнет меня уговаривать, чтоб я позволила. Деньги-то ведь это деньги, а на острове в те дни все больше товар на товар меняли, и деньги заработать непросто было, то есть наличные. Ну а миссис Деверо, конечно, снова позвонит и только рада будет написать Селене рекомендацию для отеля, если Селена ее попросит, потому что Селена всегда работала прилежно, не боялась спину гнуть или руки пачкать.

Ну прямо совсем как я, когда я в ее возрасте была, другими словами – и поглядите, во что я превратилась. Еще одна рабочая кляча, на ходу горбится, а в аптечке – пузырьки с болеутоляющими таблетками. Селена ничего этого не видела, но ей же только пятнадцать стукнуло, а девочка в пятнадцать лет ни черта не понимает в том, что видит, будь это у нее и под самым носом. Перечитала я эту записку и подумала: нет уж! Не позволю, чтоб она в тридцать пять совсем измочалилась, как я. Не допущу, пусть даже мне ради этого умереть придется. Но знаешь что, Энди? Я ведь не думала, что дойдет до такого. Я думала, может, умирать-то никому, кроме Джо, не придется.

Положила я записку назад на стол, опять плащ застегнула, натянула резиновые сапоги. Потом ушла на задний двор и постояла у белого валуна, на котором мы с Селеной сидели в тот вечер, когда я ей сказала, что ей больше не надо бояться Джо, что он обещал больше ее не трогать. Дождь кончился, но в ежевике за домом капли все падали и падали и повисали на голых ветках – ну просто брильянтовые серьги Веры, только не такие большие.

Кусты на пол-акра разрослись, и пока я сквозь продиралась, только плащ и сапоги меня и выручали. И не в сырости дело было, а в шипах – так в тебя и впивались. На исходе сороковых тут трава росла, цветы, а у сарая колодец был с крышей. Но лет через шесть, как мы с Джо поженились и переехали в дом – ему его дядя Фредди завещал, – колодец высох. Джо уговорил приехать Питера Дойона и найти для него новое место у западной стороны дома. И с тех пор у нас с водой никаких трудностей не было.

Ну а как мы перестали к старому колодцу ходить, на пол-акра за сараем и разрослась чертова шипастая ежевика высотой мне по грудь. И

шпы цепляли мой плащ и рвали его, пока я бродила взад-вперед, высматривая крышку на старом колодце. Ну и руки исцарапала, пока не сообразила рукава на них натянуть.

А под конец я эту чертову яму нашла – но только потому, что сама чуть в нее не ухнула. Я шагнула, а под ногой что-то шаткое, вроде бы мшистое, да как треснет! Только я успела ногу отдернуть, как доска переломилась. Ну, тут мне повезло: упади я грудью, так вся крышка рухнула бы. Дин-дон, дин-дон, из колодца выйди вон!

Я на колени встала, рукой лицо загораживаю, чтоб шпы его не исцарапали и глаз мне не выкололи, а сама крышку осматриваю.

Шириной она была фута в четыре, а длиной в пять. Доски все побелели, искривились и подгнили. Я нажала на одну ладонью – словно на лакричную палочку жмешь. А та, на которую я наступила, вся прогнулась, и свеженькие щепки вверх торчат. Шагни я пошире, так провалилась бы, а я тогда сто двадцать фунтов весила, не больше. А Джо был тяжелее фунтов на пятьдесят с лишним.

В кармане у меня носовой платок был, и я привязала его к кусту у крышки со стороны сарая, чтоб сразу его в спешке найти. А потом вернулась в дом. Ночью сразу уснула и никаких кошмаров не видела – в первый раз с того дня, когда я узнала от Селены, что задумал сказочный принц, ее папочка.

Это на исходе ноября произошло, но я пока ничего больше делать не собиралась. Думается, мне вам не надо объяснять почему, но я все-таки скажу: случись с ним что-нибудь вскоре после нашего с ней разговора на пароме, Селена начнет на меня коситься. А я этого не хотела, потому как частица любви к нему в ней осталась, и, наверное, навсегда, и еще я боялась того, что она почувствует, если чуть заподозрит, что на самом деле было. Что она почувствует ко мне, это конечно, но я даже еще больше боялась, что она почувствует к себе. Ну а о том, как все обернулось... пока ладно. Думается, до этого я еще доберусь.

Вот я и выжидала, хотя ждать для меня всегда всего трудней было, уж раз я приму решение. Но дни шли, складывались в недели, как всегда бывает. Иногда я спрашивала Селену про него: «Отец ничего?» Я такой вот вопрос задавала, и мы обе понимали, про что я. Она каждый раз отвечала «да», и у меня на душе легчало. Ведь примись Джо за прежнее, мне пришлось бы с ним сразу разделаться, риск там или не риск. И последствия тоже к черту.

Ну да как Рождество прошло и шестьдесят третий год начался, у меня и других беспокойств хватало. Во-первых, деньги. Я каждое утро

просыпалась и думала: а вдруг он их сегодня тратить начнет? Чего я беспокоилась? Он первые три сотни сразу спустил, и у меня не было способа помешать ему просрать и все остальные, пока я ждала, чтоб время пришло во благовремение, как в Обществе анонимных алкоголиков выражаются. Даже и не помню, сколько раз я искала чертову сберегательную книжку, которую ему в банке выдали, когда он новый счет открыл на эти деньги, но так ее и не нашла. А потому оставалось мне только смотреть, не явится ли он домой с новой пилой или дорогими часами на запястье, и надеяться, что он не просадил их уже – часть, а то и все – за покером по высоким ставкам в Элсуорте и Бэгноре, про которые от него же и слышала. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной.

Ну и вопрос о том, когда и как я это сделаю... если у меня вообще духу достанет. Устроить из старого колодца ловушку – сама по себе вроде бы мысль была и неплохая. Если б так оно само собой и сделалось. Коли б он умер чистенько и сразу, как по телевизору показывают, все было бы расчудесно. Но и тридцать лет назад я уже достаточно на жизнь насмотрелась и знала, что на деле редко что-нибудь случается, как по телевизору.

А вдруг, например, он туда свалится и начнет вопить? Остров тогда был не так застроен, как сейчас, но по Восточной дороге у нас уже трое соседей было – Кэроны, Лэнгджиллы и Джолендеры. Может, до них и не долетят крики из ежевичной чащи у нас за сараем? А вдруг долетят? Особенно если ветер будет в их сторону дуть. Мало того: по Восточной дороге между Мысом и поселком всегда кто-нибудь ехал или шел. Грузовики и легковушки мимо нашего дома так и сновали – поменьше, чем теперь, но и тех хватало, чтобы тревожить женщину, которая думала о том, о чем думала я.

И я совсем уже решила, что с колодцем у меня ничего не выйдет – слишком уж рискованно, как вдруг ответ нашелся. И опять получила я его от Веры, хотя, думается, она-то ничего про это не знала.

Затмение ее просто с ума сводило, понимаете? Она почти всю эту зиму на острове провела и к весне ближе на кухонной доске чуть не каждую неделю новые вырезки прикалывала. А когда пришла весна, как всегда с ветрами и похолоданиями, она совсем уж сюда зачастила, и чуть не каждый второй день на доске новая вырезка вывешивалась. Заметки из местных газет и из дальних, вроде «Глоуб» или «Нью-Йорк таймс», а еще из журналов, больше научных, вроде «Сайнтифик америкен».

Она так его к сердцу принимала, потому что уверена была, что уж

ради затмения Дональд и Хельга на остров приедут – все время мне это твердила, но оно ее и само по себе очень интересовало. К середине мая, когда наконец потеплело, она вроде бы совсем переехала на остров – про Балтимор даже не упоминала, а говорила только про это чертово затмение. Уже обзавелась четырьмя фотоаппаратами – и не какими-нибудь там дешевыми щелкалками, – и хранились они в шкафу в прихожей, три прямо с треножниками. Особых солнечных очков у нее было не то восемь, не то девять пар, потом открытые такие коробки (она их называла «видеоскопы для затмений»), отражатели с особо подцвеченными зеркалами и уж не знаю, что еще.

Потом как-то в конце мая прихожу на кухню и вижу, что на доске статья из нашей собственной газетки «Уикли тайд» с заголовком: «У ПОРТА» СТАНЕТ «ЦЕНТРОМ ЗАТМЕНИЯ» ДЛЯ СВОИХ ЛЕТНИХ ГОСТЕЙ. На фото Джимми Ганьон и Харли Фокс что-то сколачивали на крыше отеля, которая тогда была такой же плоской и широкой, как теперь. И знаете что? Во мне опять словно что-то повернулось, как тогда, когда я первую вырезку увидела на этой самой доске.

В статье говорилось, что владельцы «У порта» намерены превратить крышу в подобие обсерватории под открытым небом на день затмения... Только, по-моему, было это обычной рекламой, только под новым ярлыком. Дальше говорилось, что крыша «полностью обновляется» для затмения (но чтоб Джимми Ганьон и Харли Фокс хоть что-то обновили? Смех один) и будут распроданы сто пятьдесят специальных «билетов на затмение». Право первого выбора будет предоставлено летним гостям, а остальные смогут приобрести круглогодичные жители острова. Цена и правда была умеренная – два доллара за один билет, – но, конечно, они собирались там бар устроить с подачей горячих и холодных блюд, а вот тут-то отели и нагревают посетителей. Особенно в баре.

Я еще не дочла статьи, когда вошла Вера. Я ничего не услышала и прямо подскочила на два фута, как она сказала:

– Ну, Долорес, что выберешь? Крышу «У порта» или «Принцессу островов»?

– А при чем тут «Принцесса островов»? – спрашиваю.

– Я ее арендовала на день затмения, – отвечает она.

– Быть не может! – говорю, а сама уже понимаю, что еще как может. Ни попусту болтать, ни попусту хвастать Вера не любила. И все-таки у меня просто дух захватило – нанять целый паром!

– Да, арендовала, – говорит. – Обойдется мне это очень недешево, Долорес. Особенно плата за подменный паром, который в этот день будет

ходить по расписанию вместо «Принцессы», но все уже обговорено и подписано. А если ты выберешь мою экскурсию, то напитки будут бесплатные. – Посмотрела на меня из-под век и добавила: – Уж это должно понравиться твоему мужу.

– Господи! – говорю. – Да на что тебе сдался этот паром, Вера. – Всякий раз, когда я называла ее по имени, язык у меня все еще спотыкался, но к тому времени она уже ясно показала, что не шутила и не позволит мне вернуться к «миссис Донован», хоть мне-то иногда только этого и хотелось. – Конечно, я знаю, как вас затмение интересует и вообще, но ведь можно было нанять экскурсионный катер, почти такой же большой, а обошелся бы он, наверное, в половину меньше.

Она чуть пожала плечами и откинула назад длинные черные волосы – с этим своим выражением Целуй-Меня-В-Задницу.

– Я его арендовала, потому что люблю эту старую шлюху-посудину, – говорит она. – Остров Литл-Толл – мое самое любимое место на земле, Долорес. Ты это знаешь?

Уж это я знала, ну и кивнула.

– Конечно, знаешь. А привозила меня почти всегда «Принцесса» – смешная, поперек себя шире, старушка «Принцесса» переваливалась на ходу, как утка на земле. Мне сказали, что на ней с полными удобствами и безопасностью разместятся четыреста человек, на пятьдесят больше, чем выдержит крыша отеля, и я приглашу всех, кто захочет поехать со мной и детьми. – Тут она ухмыльнулась, и вот эта ухмылка была нормальная, как у девочки, которая просто радуется жизни. – И знаешь, что еще, Долорес? – спрашивает она у меня.

– Нет, – отвечаю.

– Тебе не придется ни перед кем кланяться и расшаркиваться, если ты... – Тут она замолчала и посмотрела на меня странным таким взглядом. – Долорес, что с тобой? Тебе плохо?

А я как онемела. Такая страшная, такая замечательная картина у меня перед глазами встала. Большая плоская крыша отеля «У порта» битком набита людьми, и все вытягивают шеи и смотрят вверх, а «Принцесса», вижу, стоит посреди пролива между материком и островом, и на ее палубах тоже полно людей, и все вверх смотрят, а над всем этим висит большой черный круг, опоясанный огнем, – висит в небе среди миллионов дневных звезд. Жуткая была картина, от нее и покойника дрожь пробрала бы, но язык у меня не из-за нее отнялся. А от мысли об остальном острове.

– Долорес? – говорит она и кладет руку мне на плечо. – У тебя судороги? Тебе дурно? Пойди-ка сядь у стола, я тебе налью воды.

Судорог у меня не было, но вот дурно вдруг немножко стало, а потому я ее послушалась и села у стола... только ноги у меня стали как резиновые, так что на стул я прямо упала. Смотрю, как она наливает воду в стакан, а сама вспоминаю, как она в ноябре сказала, что даже такая тупица в математике, как она, все-таки умеет складывать и вычитать. Ну и даже такая, как я, могла прибавить к тремстам пятидесяти на крыше еще четыреста на «Принцессе» и получить семьсот пятьдесят. Конечно, в середине июля на острове народу больше наберется, но не намного. А остальные, уж конечно, будут либо в море ловушки объезжать, либо наблюдать затмение с пляжа и с пристаней.

Вера принесла мне воды, и я сразу выпила весь стакан. Она села напротив меня, и взгляд у нее был встревоженный.

– Тебе нехорошо, Долорес? – спрашивает. – Может быть, хочешь прилечь?

– Нет, – говорю. – Просто на секунду мне что-то дурно стало.

И не соврала. Вдруг понять, в какой день ты убьешь мужа! Тут кому хочешь дурно станет. Через три часа, когда со стиркой было покончено, покупки сделаны и на полки убраны, ковер пропылесосен, а в холодильник поставлена кастрюлька с ее одиноким ужином (может, она и делила постель с красавчиком когда-никогда, но я ни разу не видела, чтоб она с ним за стол села), я собралась уходить. Вера сидела у кухонного стола и решала кроссворд в газете.

– Так подумай о том, чтобы поехать с нами на «Принцессе» двадцатого июля, Долорес, – сказала она. – В проливе будет куда приятнее, чем на этой раскаленной крыше, можешь мне поверить.

– Спасибо, Вера, – говорю, – но если это будет мой выходной день, я навряд куда пойду. Наверное, дома останусь.

– Ты не обидишься, если я скажу, что трудно выдумать что-то скучнее?

Да когда ты опасалась меня обидеть или кого другого, стерва заносчивая? – думаю. Только, конечно, вслух не сказала. Ну а к тому же она вроде бы правда встревожилась, когда подумала, что мне плохо, хотя, может, она просто испугалась, что я хлопнусь носом об пол и перемажу кровью пол на ее кухне – я его как раз накануне натерла.

– Нет, – говорю. – Я же такая, Вера, скучная, как пыльная тряпка.

Тут она опять посмотрела на меня как-то странно.

– Неужели? – говорит. – Иногда и мне так кажется, а иногда... ну, не знаю.

Я попрощалась и пошла домой, а по дороге все свой план обдумывала, нет ли каких накладок. Но никаких не нашла, кроме разных «может», так

ведь в жизни одни «может» и есть, верно? От неудачи не убережешься, да только если б люди много про это думали, так все бы на месте и стояло. А еще я подумала, что не заладятся что-нибудь, так я всегда могу бросить. Почти до самой последней минуты могу.

Прошел май, наступил и прошел День Памяти, начались школьные каникулы. Я приготовилась образумить Селену, начни она приставать, чтоб я разрешила ей в отеле работать, но мы еще ни разу об этом не заговорили, как просто чудо произошло. Преподобный Хафф, тогдашний методистский священник, пришел поговорить со мной и с Джо. Он сказал, что в летнем лагере методистской церкви в Уинтропе есть две вакансии для девочек-пловчих – помощницами инструктора по плаванию. Ну а Селена и Таня Кэрон обе плавали как рыбы, и Хаффи про это знал, и, короче говоря, через неделю после начала каникул мы с Мелиссой Кэрон проводили наших дочек на паром – они нам с борта машут, мы им с пристани машем, и все четверо ревим, как дуры. Селена надела в дорогу красивый розовый костюм, и я в первый раз ясно увидела, какой она станет женщиной. У меня просто сердце разрывалось... Вот и сейчас тоже... Ни у кого у вас бумажной салфеточки не найдется?

Спасибо, Нэнси. Большое спасибо. Так о чем бишь я?

А, да.

С Селеной все устроилось, оставались мальчики. Я заставила Джо позвонить его сестре в Нью-Глостер, не возьмут ли они мальчиков погостить у них со второй недели июля по первую неделю августа, потому как раза два мы приглашали летом на месяц их двух безобразников, когда они только в школу пошли. Я думала, Джо упрется и Малыша Пита не отпустит, но он и не подумал: решил, наверное, что пожить в тишине и покое тоже неплохо будет.

Алисия Форберт – его сестра, понятно, фамилию мужа носила – сказала, что они будут рады, если мальчики у них поживут. Думается, Джек Форберт был не очень-то рад, но хвостом этого пса виляла Алисия, так что все прошло гладко – то есть с ними.

Трудность была в другом – ни Джо Младший, ни Малыш Пит не хотели туда ехать. Да я их и не виню: форбертовские ребята были уже подростки и возиться с парой таких сопляков им было ни к чему. Но я не собиралась позволить, чтоб это меня остановило, – просто не могла позволить. Под конец я просто их заставила. Справиться с Джо Младшим оказалось очень трудно, и в конце концов я ему прямо сказала:

– Считай, что ты отдохнешь от своего отца!

И тут он уступил – как подумать, так очень грустно, что его только

такими словами и удалось убедить, верно?

Когда с мальчиками все было решено, оставалось только ждать, когда им придет время уехать, и сдается мне, тогда они и сами уже начали дни считать. С Четвертого июля Джо пил не просыхая, и, по-моему, даже Малышу Питу с ним было не сладко.

Его запой меня не удивил: я его сама подталкивала. Когда он в первый раз открыл шкафчик под мойкой и увидел непечатую бутылку виски, это ему странным показалось. Помнится, он спросил меня, что я – лбом об стену стукнулась или еще что. Ну а потом он никаких вопросов не задавал. Для чего бы? С Четвертого июля и до дня своей смерти Джо Сент-Джордж был пьян в стельку часть времени и в полустельку почти все время, а человек в таком состоянии очень скоро начинает считать выпавшую ему удачу своим конституционным правом... особенно такой, как Джо.

Мне только того и надо было, но все равно дни после Четвертого – неделя до отъезда мальчиков и около недели после него – все равно оказались не слишком приятными. Я вставала в семь, чтоб идти к Вере, а он лежал в кровати рядом со мной, точно комок овечьего сыра, и храпел, а волосы растрепаны и торчат во все стороны. Домой вернусь – он на крыльце восседает (вытащил туда свою чертову качалку), в одной руке «Америкен», а в другой стакан виски, второй или третий за день, хоть еще и трех нет. И рядом – никого, чтоб угостить. У моего Джо сердце особо щедрым не было, а если дело о виски шло, так тем более.

В тот июль на первой странице «Америкен» чуть не каждый день была статейка о затмении, но, думается, газета – газетой, а Джо толком не понял, что под конец месяца ожидается что-то необыкновенное. Плевать ему было на такие вещи, понимаете? Интересовали его только коммунисты, да борцы за гражданские права (он их называл «распоясавшиеся черномазы»), да чертов католик-жидолоуб в Белом доме. Знай он, что будет с Кеннеди через четыре месяца, так, думается, он бы счастливым умер, вот какой он был подлец.

Но я все равно садилась с ним рядом и слушала, как он бесится из-за того, что его на этот раз из себя вывело. Я хотела, чтоб он привык к тому, что я все время возле него, когда прихожу домой, но сказать, что это было легко, значит, соврать. Знаете, меня не так бы воротило, что он напивается, если бы он хоть веселел от этого. У некоторых пьяниц так бывает, я знаю, но Джо был не из таких. От спиртного женщина в нем наружу вылезала, и всегда будто за день-другой до месячных.

А все-таки с приближением знаменательного дня я от Веры с облегчением уходила, хоть дома меня только пьяный, вонючий муж ждал.

Весь июнь она суетилась, болтала то о том, то об этом, то и дело проверяла снаряжение для затмения и названивала по телефону – в последнюю неделю июня она каждый день по два раза, а то и больше, звонила поставщикам, которые должны были ее экспедицию на пароме обслуживать. А они были только одним номером в ее списке.

В июне у меня под началом шесть девушек работало, а после Четвертого июля – так и восемь. Столько прислуги Вера не нанимала ни до смерти своего мужа, ни после. Дом отскребли от чердака до подвала – он так и сверкал, застелили все постели. Черт, мы в солярии дополнительные кровати поставили и на веранде второго этажа тоже. Она ждала в канун затмения не меньше двенадцати гостей, а то и двадцать. Двадцати четырех часов в день ей не хватало, и она носилась взад-вперед, что твой Моисей на мотоцикле, но была счастлива.

А потом, сразу как я отправила мальчиков гостить у тети Алисии и дяди Джека, – не то десятого, не то одиннадцатого июля, и за неделю до затмения, ее хорошее настроение разом испортилось.

Испортилось? Ну уж нет! Лопнуло, как воздушный шарик, если в него иголкой ткнуть. Сегодня она по звездам шагала, а назавтра углами рта пол мела, а в глазах злой такой, затравленный взгляд появился, который я часто у нее замечала, как она начала подолгу жить на острове одна. В этот день она выгнала двух девушек – одну за то, что стояла на пуфике, пока окно протирала, а другую за то, что на кухне пересмеивалась с рассыльным. Со второй особенно плохо вышло, потому что девочка плакать начала. Сказала Вере, что училась с ним в школе, а с тех пор они не виделись, вот и начали вспоминать прежние времена. Она извинялась и просила ее не увольнять – сказала, что мать очень на нее рассердится.

Но Вере наплевать на это было.

– Худа без добра не бывает, милочка, – говорит она самым стервозным своим голосом. – Может, ваша мама и рассердится, но у вас будет столько свободного времени вспоминать веселые деньки в доброй старой джонспортовской школе!

Девочка – это была Сандра Мулкехей – побрела по дороге, опустив голову, и так рыдала, словно у нее сердце разрывалось. А Вера стояла в холле, чуть пригнувшись, чтоб лучше ее видеть через окно у входной двери. У меня просто нога зачесалась наподдать ей в зад, когда она ее так выставила... но мне и ее жалко было. Отгадать, какая муха ее вдруг укусила, было нетрудно, и так оно и вышло: ее дети не захотели приехать наблюдать затмение вместе с ней, хоть она и арендовала паром. Может у них просто были свои планы – дети ведь никогда не думают про чувства

родителей, но, по-моему, из-за чего бы они ни поссорились, причина никуда не делась.

Ну, Вера повеселела, когда шестнадцатого и семнадцатого начали приезжать первые приглашенные, но я все равно радовалась, уходя домой каждый день, а в четверг восемнадцатого она выгнала еще одну девушку – Карен Джолендер на этот раз. Ее великим преступлением была разбитая тарелка, уже надтреснутая до того, как она ее уронила. Карен, пока шла по дороге, не плакала, но видно было, что она за первым же поворотом даст себе волю.

Ну, тут я глупость сделала – не забывайте, я и сама к тому времени до точки дошла. Кое-как выждала, пока Карен не ушла, а тогда отправилась искать Веру и нашла ее в саду за домом. Она нахлобучила соломенную шляпу прямо на уши и так щелкала секатором, будто она какая-нибудь мадам Дюфарж и сносит головы, а не Вера Donovan, которая срезает розы для гостиной и столовой.

Я подошла к ней вплотную и сказала:

– Это пакость была – уволить бедную девочку.

Она выпрямляется и смотрит на меня самым своим королевским взглядом.

– Вы так думаете? Я так рада узнать ваше мнение, Долорес. Всегда жажду его, знаете ли, и каждую ночь, когда ложусь спать, вспоминаю в темноте события дня и про каждое задаю тот же вопрос: «Как бы на моем месте поступила Долорес Сент-Джордж?»

Ну, тут у меня и вовсе в глазах почернело.

– Я вам скажу, чего Долорес Сент-Джордж никогда не делает, – говорю. – Она никогда на других не срывает сердца, если зла или расстроена из-за чего-то другого! До такой высокомерной стервы я не дотягиваю!

Рот у нее раскрылся так, будто кто-то ослабил болты, на которых ее челюсть держалась. Думается, я в первый раз по-настоящему ее удивила, и я сразу ушла, чтоб она не заметила, до чего я перепугалась. Когда я до кухни добралась, меня ноги не держали. Села я на стул и подумала: «Ты совсем спятила, Долорес! Зачем тебе взбрендило ей на хвост наступать?» Я привстала, чтоб в окно поглядеть, но только ее спину увидела, а секатор опять так и щелкает, и розы в корзину валяются, будто солдаты с кровавыми головами.

Когда я днем домой уходить собралась, она подошла ко мне сзади и сказала, чтоб я подождала – она хочет со мной поговорить. У меня душа в пятки ушла. Вот и мое время подошло: она скажет, что мои услуги больше

не требуются, поглядит на меня взглядом Целуй-Меня-В-Задницу напоследок, и пойду я по дороге этой в последний раз. По-вашему, избавиться от нее облегчением было б. Мне тоже так подумалось, а сердце все равно защемило. Мне тридцать шесть, с шестнадцати работаю не покладая рук, и ни разу мне от места не отказывали. Но все равно есть пакости, которых стерпеть нельзя, если хочешь свое достоинство уберечь. Собралась я с силами, обернулась и посмотрела на нее.

Но чуть увидела ее лицо, как поняла, что она не увольнять пришла. Вся утренняя краска с лица смыта, а веки так распухли, что, думаю, либо она днем спала, либо плакала у себя в спальне. В охапке она держала бумажный пакет и сразу его мне в руки сует.

– Бери, – говорит.

– Да что это? – спрашиваю.

– Два видеоскопа для затмений, – отвечает, – и два отражателя. Я подумала, может, они вам с Джо пригодятся. А у меня... – Тут она замолчала, кашлянула в кулак и посмотрела мне прямо в глаза. Одним я в ней, Энди, всегда восхищалась: что б она ни говорила, как бы ей скверно ни было, она при этом всегда смотрела на тебя. – У меня оказались два лишних комплекта, – сказала она.

– О? – говорю. – Очень грустно это слышать.

Она отмахнулась от моих слов, как от мухи, а потом спросила, может, я передумала и поеду на пароме с ней и ее компанией.

– Нет, – отвечаю. – Я, пожалуй, на своей веранде устроюсь и буду с Джо оттуда его наблюдать. А если он уж очень распояшется, так уйду на мыс.

– Да, кстати, – говорит она и все смотрит мне в глаза, – я хочу извиниться за утреннее... и попросить тебя зайти к Мейбл Джолендер и сказать ей, что я передумала.

Чтоб такое сказать, ей большое мужество требовалось, Энди. Ты ее не так знал, как я, и, значит, должен мне на слово поверить, но только мужества это требовало черт-те какого. Когда дело до извинений доходило, Вера Донован всю сухую закон соблюдала.

– Обязательно зайду, – отвечаю мягким таким голосом и чуть было ее по руке не погладила, но удержалась. – Только ее Карен зовут, а не Мейбл. Мейбл тут лет шесть-семь назад работала. А сейчас в Нью-Гемпшире живет, ее мать говорила. Работает в телефонной компании, и вроде бы все у нее хорошо.

– Ну пусть Карен, – говорит она. – Пригласи ее вернуться, Долорес. Но просто скажи, что я передумала, а больше ни слова. Ты поняла?

– Да, – отвечаю. – И спасибо за видеоскопы. Они нам очень пригодятся.

– Не стоит благодарности, – говорит. Я дверь открыла чтоб уйти, а она опять говорит: – Долорес!

Я оглянулась через плечо, а она странно так мне кивнула, будто знала такое, чего ей знать не полагалось.

– Иногда приходится быть высокомерной стервой, чтоб выжить, – говорит она. – Иногда женщина только тем и держится, что она стерва.

И тут она закрыла дверь у меня перед носом. Не захлопнула, а тихо так притворила.

Ну ладно. Вот мы и до дня затмения добрались. Только если мне вам рассказывать, как и что было, до последней подробности, на сухую глотку я говорить не стану. Я уже почти битых два часа по моим часам говорю – тут уж на чьих угодно подшипниках смазка сгорит, а конца еще не видать. Так вот, Энди, либо расщедрись и отлей с дюйм из бутылочки в ящике твоего стола, либо на сегодня хватит. Что скажешь?

А! Спасибо. В самый раз пришлось. Нет, убери ее. Одного глотка хватит, чтоб насос заработал, а от второго как бы трубы не закупило.

Ну ладно. Значит, так.

Девятнадцатого в ночь я спать легла в такой тревоге, что меня от нее чуть не вытошнило, – по радио предупредили, что назавтра не исключается дождь. Я только о том думала, как я все это сделаю, да с духом собиралась, и совсем у меня из головы вон, что день-то может оказаться дождливым. Ложусь, а сама думаю: ну, буду теперь до утра с боку на бок ворочаться. А потом думаю: цыц! Попробуй только, Долорес! Я тебе сейчас все объясню: чертову погоду ты изменить не можешь, да и чего про нее думать? Ты знаешь, что попробуешь разделаться с ним, пусть даже весь день дождь как из ведра льет. Теперь на попятный уже поздно. Я это хорошо понимала, а потому закрыла глаза и как провалилась.

Суббота – двадцатое июля тысяча девятьсот шестьдесят третьего года – наступила. Утро было жаркое, облачное и душное. По радио сказали, что дождя скорее всего не будет – может быть, отдельные грозы вечером, но облачность сохранится весь день, и шансов у жителей побережья наблюдать затмение примерно пятьдесят на пятьдесят.

Но у меня словно груз с плеч свалился, и, когда я пошла к Вере помогать с поздним завтраком а-ля фуршет, который она запланировала, на душе у меня спокойно было, и все тревоги позади остались. Облачность ничему не мешала, понимаете? Пусть бы даже иногда и дождь начинался, лишь бы на весь день не зарядил. Ведь все равно постояльцы отеля будут

на крыше, а гости Веры – посреди пролива в надежде, что облака хоть на минуту разойдутся и они увидят то, что при их жизни больше не повторится... Во всяком случае, в Мэне. Надежда – большая сила, сами знаете, а уж лучше меня этого никто не знает.

Помнится, у Веры с пятницы ночевало восемнадцать человек, но у стола утром их куда больше собралось – побольше тридцати, коли не все сорок. Остальные, кто был приглашен с ней плыть – почти одни местные, не с материка, – должны были собраться на пристани к часу дня, а старушка «Принцесса» отплывала в два. К началу затмения – в четыре тридцать примерно – первые два-три бочонка пива уже выпиты будут.

Я думала, Вера будет сплошной комок нервов и готова вот-вот сорваться, но иногда, думается, у нее настоящая привычка выработалась меня удивлять. На ней была такая бело-красная свободная штука – их вроде бы называли кафтанами, – волосы она стянула на затылке в конский хвост, совсем не похожий на прически, за которые она по пятьдесят долларов платила в те дни.

Она все ходила и ходила вокруг длинного стола, который приказала накрыть на задней лужайке около розария, разговаривала и смеялась со всеми своими друзьями – по большей части из Балтимора, если судить по их виду и голосам. Но в этот день она стала совсем другой, чем была всю предыдущую неделю. Помните, я вам сказала, что она носилась, как Моисей на мотоцикле? А в этот день она больше на бабочку смахивала, порхающую среди цветов, и смех у нее был не такой визгливый и громкий.

Она увидела, как я внесла поднос с омлетиками, и быстро пошла ко мне отдать распоряжения, но походка у нее была другой, чем все эти дни, будто ей хотелось побежать вприпрыжку, а с лица у нее не сходила улыбка. Я подумала: она счастлива, вот и все. Смирилась с тем, что ее дети не приедут, и решила, что все-таки будет чувствовать себя счастливой. Вот словно бы и все... если только не знать ее, не знать, как редко Вера Донован бывает счастлива. Вот что я тебе скажу, Энди, с тех пор я ее еще тридцать лет знала, а вот по-настоящему счастливой больше, пожалуй, ни разу не видела. Спокойной и довольной – да, и смирившейся. Но счастливой? Сияющей и счастливой, будто бабочка, порхающая над цветущим лугом в жаркий день? Нет и нет.

– Долорес! – говорит она. – Долорес Клейборн!

А я даже не заметила, что она меня девичьей фамилией назвала, хотя в то утро Джо был еще жив и здоров и прежде она никогда так не делала. А когда потом вдруг вспомнила и сообразила, меня дрожь пробрала, точно кто-то по моей будущей могиле прошел. Есть такое поверье.

– Доброе утро, Вера, – отвечаю. – Жалко, что утро пасмурное.  
Она посмотрела вверх на низкие летние тучи, потом улыбнулась.  
– К трем часам прояснится, – говорит.  
– Вы так говорите, будто заказ такой дали солнцу, – говорю я.

Конечно, я только подшучивала, но она серьезно так кивнула и говорит:

– Вот именно, дала. А теперь, Долорес, беги на кухню проверь, почему дурак-официант не принес свежего кофе.

Ну, я сразу пошла, но четырех шагов не сделала, как она меня снова окликнула – словно два дня назад, когда сказала, что иногда женщине надо быть стервой, чтоб выжить. Я обернулась и жду, что она мне опять то же самое скажет. Только нет. Стоит в красивом красно-белом платье-палатке, руки в боки уперла, волосы через плечо перекинута – больше двадцати одного года в утреннем свете ей бы никто не дал.

– В три, Долорес, солнце засияет! – говорит. – Вот сама увидишь!

Есть они кончили в одиннадцать, а к двенадцати в кухне только я с девочками осталась, потому как поставщик с официантами перебрались на «Принцессу островов» готовиться ко второму действию. Сама Вера отправилась в порт довольно поздно – повезла трех-четырех последних гостей в старом форде «рэнчвэгон», которым пользовалась на острове. Я мыла посуду до часу или около того, а потом сказала Гейл Лейвск, которая в тот день была у меня первой помощницей, что у меня голова разболелась и поташнивает, так я пойду домой, ведь уборка почти кончена. Когда я уходила, Карен Джолендер мне на шею бросилась и сказала «спасибо», а сама снова заплакала. Сколько лет я ее уже знаю, а глаза у нее всегда на мокром месте.

– Не знаю, кто тебе что говорил, Карен, – сказала я, – но благодарить тебе меня не за что... Я ничего же не сделала.

– Никто мне ничего не говорил, – отвечает, – только я знаю, это все вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не смеет слова сказать поперек старой ведьме.

Я поцеловала ее в щеку и сказала, чтоб она больше ни о чем не беспокоилась, если только не начнет снова тарелки ронять.

Я помню все, что было, Энди, – все. Но с той минуты, когда я вышла от Веры и свернула на Сентер-Драйв, я словно бы сон вспоминаю, самый яркий, словно бы самый настоящий, какой только в жизни бывает. Иду, а сама думаю: «Я иду домой убить моего мужа, я иду домой убивать моего мужа», – будто забиваю это себе в голову, точно гвоздь в очень твердое дерево, вроде тикового или эбенового. Но теперь, вспоминая, вижу, что в

голове-то это у меня прочно засело. А вот сердце не понимало.

Хотя, когда я до поселка дошла, было всего пятнадцать минут второго и до затмения больше трех часов оставалось, улицы такие пустые были, что жутко делалось. Мне даже вспомнился городок на юге штата, где, говорят, ни единого жителя не осталось. Тут я поглядела на крышу «У порта», и опять меня жуть взяла. По ней уже человек сто бродило, когда не больше, и все на небо посматривают, точно фермеры в пору сева. Поглядела вниз на пристань – вижу «Принцесса» у причала стоит, сходни спущены, а на автомобильной палубе вместо машин народу полно. Расхаживают с бокалами в руках – устроили себе прием с коктейлями на открытом воздухе. И пристань вся людьми забита, а в проливе уже не меньше пятисот всяких лодок и яхт болтается – никогда я столько их сразу там не видела. Якоря бросили и ждут. Смотрю, вроде бы все – и на крыше, и на пристани, и на «Принцессе» – уже черные очки надели, а в руках видеоскопы держат. Никогда такого дня на острове не было – ни прежде, ни потом, – и даже не будь у меня в мыслях того, что в них было, думается, мне все равно почудилось бы, будто я во сне.

Бар, конечно, открыт был – затмение там или не затмение. По-моему, подонок этот будет торговать и в утро Страшного Суда. Я зашла, купила бутылку «Джонни Уокера» и по Восточной дороге домой вернулась. Бутылку я сразу Джо отдала – просто на колени ему положила. Потом вошла в дом, достала пакет с Вериными видеоскопами и отражателями, а когда снова вышла на крыльцо, он, вижу, бутылку перед глазами держит и на свет ее разглядывает.

– Будешь пить или только любоваться? – спрашиваю его.

Он поглядел на меня вроде бы с подозрением и говорит:

– Какого черта, а, Долорес? В честь чего, а?

– Подарок, чтоб затмение отметить, – говорю, – а если тебе не хочется, так и вылить недолго.

И протягиваю руку, но он живо бутылку отдернул.

– Что-то ты последнее время чертову манеру завела мне подарки делать, – говорит. – Такое пошло нам не по карману, затмение там или не затмение. – А сам уже из кармана складной нож тащит и откупоривает.

– По правде сказать, не только в затмении дело, – говорю. – Просто на душе у меня так хорошо, так легко стало, что хотелось своим счастьем поделиться. А поскольку я заметила, что ты счастье больше из бутылки сосешь...

Смотрю, как он крышечку сбросил и налил себе. Рука у него дрожала, но я не расстроилась. Чем больше он налижется, тем мне легче будет.

– А с чего это тебе хорошо стало? – спрашивает. – Пиллюлю изобрели безобразные рожи вылечивать?

– Не слишком-то вежливо так благодарить за бутылку первоклассного шотландского виски, – говорю. – Может, и вправду его отобрать?

Я опять протянула руку к бутылке, и он опять ее отдернул.

– Как же, дожидайся! – говорит.

– Ну, так будь паинькой, – говорю. – И куда вся вежливость и благодарность подевались, каким тебя в твоём Анонимном обществе обучали?

Он это мимо ушей пропустил, а сам на меня смотрит, будто продавец, который все не может решить, не всучили ли ему фальшивую десятку.

– Так с чего тебе хорошо-то, черт дери? – спрашивает снова. – Из-за ребят, а? Что сплвила их из дома?

– А вот и нет. Я по ним уже соскучилась, – говорю. Притом чистую правду.

– Чего от тебя и ждать! – говорит он и выпивает. – А тогда с чего?

– Потом расскажу, – говорю и встаю.

Он схватил меня за руку и говорит:

– Нет, ты сейчас ответь, Долорес. Ты знаешь, я не люблю, когда ты себе лишнее позволяешь.

Поглядела я на него сверху вниз и говорю:

– Убери-ка руку, не то как бы бутылка этого дорогого пойла не разбилась о твою башку. Драться я с тобой не хочу, Джо, а сегодня и подавно. У меня есть отличная салями, швейцарский сыр и вафельки.

– Вафельки! – повторяет он. – Это надо же!

– Ладно, – говорю. – Я приготовлю для нас канапе не хуже тех, какие Верины гости получают на «Принцессе».

– От всяких таких выдумок у меня живот пучит, – говорит он. – Обойдусь без твоих как на пне, сделай мне лучше хороший бутерброд.

– Ладно, – отвечаю, – бутерброд так бутерброд.

А он к проливу повернулся и смотрит – может, потому, что я «Принцессу» помянула. Нижнюю губу выпятил злобно так. А лодок там еще прибавилось, и, гляжу, небо над ними вроде бы посветлело.

– Поглядеть на них! – бормочет этим своим язвительным голосом, который его младший сын принаоровился изображать. – Что произойдет-то? Солнце вроде грозовая туча закроет, и все, а они там в штаны наложить готовы. Хоть бы дождь пошел! Чтоб утопил и зазнайку суку, на которую ты работаешь, и их всех в придачу!

– Вот это мой Джо, – говорю. – Всегда веселый, всегда добрый!

Он оглянулся на меня, а сам бутылку к груди прижимает, будто медведь – соты.

– Чего ты, черт дери, болтаешь, а?

– Ничего, – отвечаю. – Сейчас пойду едой займусь. Тебе бутерброд, а мне парочку канапе. Потом посидим, выпьем, затмение поглядим – Вера нам подарила пару очков и видеоскопов, – а когда оно кончится, я тебе объясню, почему я сегодня такая счастливая. Это сюрприз.

– Я говенных сюрпризов не люблю, – говорит он.

– Знаю, что не любишь, Джо, – отвечаю. – Ну да этот в твоём вкусе, а какой – тебе и за сто лет не догадаться.

Тут я ушла на кухню, чтоб он мог всерьез за бутылочку взяться. Хотела, чтоб он побольше удовольствия получил. Нет, правда. Ведь это ж было последнее спиртное в его жизни. И больше ему уже не понадобится Анонимное общество, чтоб воздерживаться от выпивок. Там, куда он отправится.

Такого длинного дня в моей жизни не было... и такого странного. Он сидит на крыльце в этой своей качалке, в одной руке газету держит, в другой – стакан и кричит мне что-то в открытое окно кухни про какую-то пакость, которую демократы затеяли в Огесте. И уже забыл, как хотел узнать, отчего я такая счастливая, – и про затмение тоже. А я на кухне готовлю ему бутерброд, напеваю, а сама думаю: «Ты уж постарайся, Долорес, красного лучку нарежь, как он любит, и горчицы добавь для вкуса. Уж постарайся, потому как это самая его последняя еда».

С того места, где я стояла, виден был сарай по всей длине, а дальше белый валун и край ежевичных зарослей. Носовой платок, который я там к ветке привязала, был на месте – я и его видела. Колыхался от ветра туда-сюда, туда-сюда. А я все думала про замшелую колодезную крышку прямо под ним.

Помню, как птицы пели и как я слышала голоса людей, которые перекрикивались в проливе, – такие слабые и дальние, точно по радио. Помню даже, что я тогда напевала: «Неизреченная Божья Милость, сколь сладок звук...» Напевала и накладывала ломтики сыра на вафли (требовались они мне не больше, чем курице – флаг, но чтоб Джо удивился, почему я не ем, мне тоже не требовалось).

На крыльцо я вернулась, наверное, в четверть третьего: на одной руке поднос удерживаю, точно официантка, а другой Верин пакет держу. Небо все еще пасмурным было, но уже очень посветлело.

Закуска получилась отличная. Джо на похвалы был скуп, но я видела по тому, как он отложил газету и поглядывал на свой бутерброд, откусывая

по кусочку, что ему он по вкусу пришелся. Тут мне вспомнилось, как я не то в книге прочла, не то в кино слышала, что «приговоренный к смерти перед казнью плотно позавтракал». Как вспомнила, так уж и не могла от этих чертовых слов избавиться.

Но они мне не помешали самой за еду приняться, а раз начав, я все свои канapé съела и запила целой бутылкой пепси. Раза два мне в голову приходило: а у палачей в тот день, когда им предстоит работа, аппетит бывает хороший? Странно, о чем только человек не думает, когда подбодряет себя сделать что-то, верно?

Солнце вырвалось из-за облаков, как раз когда мы кончали. Я вспомнила, что мне Вера утром сказала, поглядела на часы и улыбнулась. Ровнехонько три часа было! Примерно тогда же – он в те дни почту по острову развозил – мимо назад к порту промчался Дейв Пеллетье, а за ним длинный хвост из пыли протянулся. И больше я до позднего вечера на Восточной дороге ни единой машины не видела.

Я поставила тарелки и пустую бутылку из-под пепси на поднос, нагнулась к нему, но, прежде чем выпрямилась, Джо сделал то, чего уже много лет не делал, – положил мне ладонь на шею да и поцеловал меня. Знала я поцелуй и поприятнее – от него так и разило виски напополам с луком и салями, и небрит он был вдобавок, а все-таки поцелуй был настоящий, не ехидный и не пустое чмоканье. Ласковый такой, настоящий поцелуй... Я уж не помнила, когда он меня в последний раз так целовал. Закрыла я глаза и губы ему подставила. Это я хорошо помню: как закрыла глаза, а его губы к моим прижаты, а солнце мне лоб греет – и поцелуй такой же теплый и приятный.

– Есть было можно, Долорес, – говорит. Для него это большой похвалой было.

Тут я на секунду вроде заколебалась – врать не хочу, было это. Я вдруг на секунду увидела Джо – не как он Селену лапает, а его лоб, каким он был в классе в сорок пятом, как я на него смотрела и хотела, чтоб он меня поцеловал вот так, как теперь, как я тогда думала: «Если б он меня поцеловал, я бы подняла руку и потрогала кожу у него на лбу... проверила бы, такая она гладкая, как кажется, или нет».

Тут я подняла руку и дотронулась до нее, совсем как мечтала, когда была зеленой девчонкой столько лет назад, и в ту же секунду внутренний глаз открылся еще шире, чем раньше. И увидел, что Джо дальше делать будет, если я допущу, – и не просто добьется от Селены, чего пытался, или растрянжирит деньги, которые украл у детей, а как он будет их обрабатывать: язвить Джо Младшего за хорошие отметки и любовь к

истории; хлопнуть Малыша Пита по спине всякий раз, как Пит обзовет кого-нибудь жиденком или скажет про одноклассника, что он черномазого ленивей. Как он будет их обрабатывать все время, каждый день, каждую минуту. И будет продолжать, пока не сломит их или не толкнет на скверную дорожку, если я допущу, а под конец умрет и не оставит нам ничего, кроме счетов и ямы, чтоб его схоронить.

Ну так яму я для него уже нашла – в тридцать футов глубиной, а не в какие-то шесть, и со стенками не просто земляными, а камнями выложенными. Да уж яма у меня для него была готова, и один поцелуй за три года, если не за все пять, ничего изменить не мог. И то, что я его лоб погладила... Это ведь было причиной всех моих бед куда больше его поцелуйчика... И все равно я еще раз его погладила, обвела пальцем и вспомнила, как он целовал меня в патио отеля «Самосет», а оркестр внутри играл «Лунный коктейль», и как я тогда почувствовала, что щека у него пахнет отцовским одеколоном.

И тут я ожесточила свое сердце.

– Я рада, – говорю и снова берусь за поднос. – А ты бы пока наладил видеоскопы, а я тарелки перемою.

– Клал я на все, что эта дырка богатая тебе насовала, – говорит он. – И на затмение это чертово я тоже клал. Что я – темноты не видел? Любуйся знай себе хоть каждую ночь!

– Ладно, – говорю. – Как хочешь.

Только я к двери подошла, а он говорит:

– Может, попозже мы с тобой кой-чем займемся, а, До? Что скажешь?

– Может быть, – отвечаю, а сама думаю: да уж займемся! До того, как в этот день во второй раз темнота настанет, Джо Сент-Джордж со всеми занятиями покончит.

Пока я у мойки стояла, так все время с него третий мой глаз не спускала. Он уж много лет в постели только дрых, храпел и пердел и, думается, знал, что спиртное тут причиной не меньше моей безобразной рожи, а может, и больше. Я перепугалась, а вдруг он и вправду решит попозже себя испробовать да и наденет крышечку на бутылку «Джонни Уокера», но этой беды не случилось. Для Джо трахнуть (ты уж меня извини, Нэнси) такой же минутной фантазией было, как меня поцеловать. Бутылка для него куда важнее была. Она ж у него под рукой стояла. Один видеоскоп он из пакета вытащил, взял за ручку и вертел так и эдак, на солнце поглядывая. Ну прямо шимпанзе радиоприемник настраивает – один раз я по телику видела. Потом положил и снова виски в стакан плеснул.

Когда я вышла на крыльцо с рабочей корзинкой, он уже смотрел по-совиному, а глаза у него красным обвело, как всегда бывало, когда он втройне за воротник заложит. Но на меня он остро так поглядел – думал, наверное, что я его ругать примусь.

– Ты на меня внимания не обращай, – говорю сладким голосом. – Я просто посижу тут со штопкой, пока затмение не начнется. Хорошо, что солнце из-за туч вышло, верно?

– Черт, Долорес! Ну прямо будто у меня нынче день рождения, – говорит он, а голос у него уже сиплый и язык заплетается.

– Да, пожалуй, что-то вроде этого, – говорю и начинаю штопать прореху в джинсах Малыша Пита.

Следующие полтора часа тянулись даже медленнее, чем время, когда моя тетя Клорис обещала меня свозить в первый раз в кино в Эллуорт и я ее никак дожидаться не могла. Джинсы Малыша Пита я заштопала, поставила заплатки на брюки Джо Младшего (этот мальчик и тогда наотрез отказывался джинсы носить – думается, уже, сам того не зная, готовился стать политиком) и подшила две юбки Селены. А под конец пришила новую ширинку на рабочие штаны Джо. Они старые были, но еще крепкие. Я тогда подумала, что они сгодятся, чтоб его похоронить.

И тут, когда уж я подумала, что оно никогда не начнется, смотрю – свет у меня на руках вроде бы немножко померк.

– Долорес? – Джо меня окликнул. – Вроде бы то, чего ты со всеми этими дураками и дурами дожидалась, вот оно.

– Ага, – отвечаю. – Похоже на то.

И правда, свет во дворе из ярко-желтого, каким ему в июле быть положено, стал каким-то розоватым, а тень от дома – почти прозрачной, такого я ни прежде, ни потом не видела.

Я достала из пакета отражатель и повернула его так, как мне Вера сто раз за последнюю неделю показывала. И тут мне такая странная мысль пришла... Эта маленькая девочка то же самое делает, вдруг подумала я. Сидит на коленях у папочки и то же самое делает.

Я, Энди, тогда не знала, что означала эта мысль, да и теперь толком не знаю, а тебе сказала, потому как решила тебе все рассказать; ну и еще я о ней позже опять подумала. Но главное то, что секунду-другую я не просто о ней думала – я ее вживе видела, ну как во сне или как ветхозаветные пророки в своих видениях: девочка лет, может, десяти со своим отражателем в руках. На ней короткое красное платье в желтую полоску – такое пляжное, на бретельках, понимаешь? – а губы алой помадой подкрашены. Волосы белокурые и вверх зачесаны, будто ей постарше

казаться хочется. И еще я кое-что увидела – такое, что мне сразу о Джо напомнило. Рука ее папочки у нее на ноге лежала – очень высоко, даже излишне. И тут он ее убрал.

– Долорес? – говорит Джо. – Тебе плохо, что ли?

– С чего ты взял? – говорю. – Очень даже хорошо.

– Вид у тебя какой-то странный был.

– Так затмение же! – отвечаю. И я правда так думаю, Энди, но только я думаю, что девочка, которую я тогда увидела, а потом еще раз, была настоящей живой девочкой и сидела с отцом на пути затмения в то же самое время, когда я сидела на крыльце с Джо.

Я поглядела в отражатель и увидела крохотное белое солнце, такое яркое, будто серебряная монетка в огне с черным таким изгибом по краешку. Поглядела я поглядела, а потом на Джо посмотрела. А он видеоскоп взял и щурится в него.

Тут в траве цикады зацвирикали: думается, они решили, что закат в этот день пораньше начался и пора им свои шарманки заводить. Я на пролив посмотрела – вода между лодками куда синей выглядела, а сами они какими-то жутковатыми стали и в то же время сказочными. И мне померещилось, что все эти лодки под странно темным летним небом – одна только видимость, и нет их там.

Я покосилась на часы – без десяти пять. Значит, следующий час или больше все на острове только о солнце будут думать и только на него смотреть. На Восточной дороге – ни души, все наши соседи либо на «Принцессе», либо на крыше отеля, и, значит, если я вправду хочу его прикончить, так время подошло. Все внутренности у меня будто в одну тугую пружину закрутились, и никак я не могла из головы выбросить белокурую девочку на коленях у ее папочки, но я не должна была допускать, чтоб это меня остановило или хотя бы отвлекло на одну минуту. Я знала: не сделаю сейчас же – не сделаю никогда.

Я положила отражатель рядом с шитьем и сказала:

– Джо!

– Чего? – спрашивает он. Затмение он обругал, но теперь, когда оно и вправду началось, глаз от солнца отвести не мог. Задрал голову, и видеоскоп отбрасывал ему на лицо эту же прозрачную тень.

– Сюрприз! – говорю я.

– Какой еще сюрприз? – спрашивает и опускает видеоскоп (особые стеклышки в рамке – только и всего), чтоб посмотреть на меня. Тут я поняла, что он вовсе не от затмения обалдел – то есть не совсем. А налился почти до чертиков и до того отупел, что я даже испугалась. Если

он не поймет, о чем я заговорю, то придется мне свой план бросить не начав. А что ж я тогда делать буду? Неизвестно. Зато одно я знала твердо и от страха прямо обмерла: отступать я не буду. Пусть все наперекосяк пойдет, и будь что будет, я не отступлю.

Тут он протягивает руку, хватая меня за плечо и встряхивает.

– О чем ты, черт тебя дерит, говоришь?

– Помнишь про деньги на детских сберегательных книжках? – спрашиваю, а он чуть прищурился, и тут я поняла, что вовсе он не так пьян, как мне показалось. И еще я поняла, что этот поцелуй ничегошеньки не изменил. Поцеловать-то кто угодно может. Римлянам Иуда Искарот поцелуем на Христа указал.

– Ну и что? – говорит он.

– Ты их забрал.

– Еще чего!

– Да-да, – говорю. – Когда я узнала, что ты пристаешь к Селене, я пошла в банк. Хотела взять деньги, забрать детей и увезти их от тебя.

Он рот разинул и уставился на меня. А потом захохотал. Откинулся в своей качалке и ржет, а вокруг него все темней и темней становится.

– Ты, значит, в дурах осталась, а? – говорит. Потом подлил себе виски и опять уставился в видеоскоп на небо. А тень на его лице и не видна почти. – Всего половина осталась, Долорес, – говорит, – а может, и меньше!

Поглядела я в свой отражатель и вижу: он верно сказал. От серебряной монеты половина осталась, и она все убывает и убывает.

– Да, – говорю, – половины уже нет. Ну а деньги, Джо...

– Забудь про них, – говорит. – Не забивай свою голову чем не надо. С деньгами этими полный порядок.

– А я о них и не беспокоюсь, – отвечаю. – Ничуть. А вот что ты меня обдурил, мне обидно.

Он кивнул вроде бы серьезно и раздумчиво, будто хотел мне показать, что понимает и даже сочувствует. Да только долго не выдержал и давай опять хохотать на манер мальчишки, которого учительница ругает, а он ее ни в грош не ставит. Так ржал, что у его рта просто облачко серебряное из брызг повисло.

– Ты уж прости, Долорес, – сказал он, поуспокоившись. – Смеяться я не хотел, но я ж тебя обставил, а?

– Угу, – отвечаю. Ведь оно так и было.

– Надул на все сто, – говорит, а сам регочет и головой трясет, будто невесть какую шутку услышал.

– Угу, – опять я с ним соглашаюсь. – Да только знаешь присловье?

– Это какое же? – говорит, а сам положил видеоскоп на колени и на меня смотрит. Он до того ржал, что в красных его свинячих глазках слезы стояли. – Это у тебя, Долорес, на любой случай присловье есть. Так что говорят о мужьях, когда они пронырливых жен облапошивают, которые не в свое дело лезут?

– Ты меня раз провел – тебе стыдно, ты меня два раза провел – мне стыдно. С Селеной ты меня провел, а потом с деньгами, только, думается, я с тобой разобралась наконец.

– Может, да, а может, нет, – говорит он. – А вот если ты беспокоишься, что они потрачены, так перестань, потому что...

Тут я его перебила.

– А я и не беспокоюсь, – говорю. – Я ж тебе уже сказала. Ничуть не беспокоюсь.

Тут он на меня пристально поглядел, Энди, и улыбочка его малопомалу усохла.

– Опять, – говорит, – у тебя рожа хитрой стала. Не люблю я этого.

– Сейчас заплачу, – говорю я.

Он на меня долго глядел, все пытался разгадать, что у меня в голове происходит, только думается, для него это, как всегда, тайной осталось. Опять губу выпятил и так вздохнул, что сдул на место прядь, которая ему на лоб свесилась.

– Бабы редко когда в деньгах хоть что-то понимают, Долорес, – сказал он. – И ты не исключение из правила. Я их все поместил на один счет, только и всего... Так они больше процентов приносят. А тебе не сказал, потому что не хотел слушать, как ты всякую чушь несешь. Вот и послушал, как мне всегда приходится, но хорошенького понемножку, – говорит и снова видеоскоп к глазам подносит – показывает мне, что разговор окончен.

– Один счет на твоё имя, – сказала я.

– Ну и что? – спрашивает. (К тому времени будто сумерки сгустились и деревья с горизонтом сливались. За домом, слышу, козодой закричал, а ему другой откуда-то отвечает. Да и похолодало вроде. И такое странное на меня чувство нашло, будто живу я во сне, только он явью обернулся.) – Почему бы ему и не быть на мое имя? Я ж им отец, верно?

– Ну твоя кровь в них течет. Если от этого ты им отец, значит, так.

Видно было, как он пыжится понять, стоит из-за таких слов дать волю глотке или нет, и решил, что не надо.

– Ну хватит про это говорить, Долорес, – бурчит он. – Я тебя по-хорошему предупреждаю.

– Ну еще самую чуточку, – говорю я и улыбаюсь. – Про сюрприз ты позабыл, а?

Он на меня опять с подозрением смотрит:

– О чем ты бормочешь, Долорес, черт тебя дерит?

– Да я съездила к человеку, который заведует сбережениями в «Северном побережье» в Джонспорте, – говорю. – Очень вежливый такой, а фамилия его Пийз. Я объяснила, что произошло, и он жуть как разволновался, особенно когда я показала ему, что книжки-то потеряны не были, как ты ему наплел.

Вот тут Джо последний интерес к затмению потерял. Сидит в дерьмовой своей качалке и пялится на меня, выпучив глаза. Лицо потемнело, а губы в белесую полоску сжались, точно шрам. Видеоскоп на колени положил и то сожмет кулаки, то разожмет, медленно так.

– Выходит, ты права не имел так делать, – говорю я ему. – Мистер Пийз проверил, остались деньги в банке или нет. Выяснилось, что остались, и мы с ним просто охнули от облегчения. Он спросил, хочу я, чтоб он в полицию позвонил и все им сообщил. Только по его лицу видно было, что сам-то он этого не хочет. Ну я и спросила, может он выдать эти деньги мне. Он справился по книге и ответил, что может. А я говорю: «Вот так и сделаем». И он мне их выдал. Вот почему я, Джо, больше за детские деньги не боюсь: они теперь у меня, а не у тебя! Хороший сюрпризик?

– Врешь! – заорал Джо и вскочил на ноги, чуть качалку не опрокинул. Видеоскоп упал на пол и разбился вдребезги. Жалко, у меня фото нет, какое у него лицо стало. Да уж я ловко его ударила – по самую рукоятку вошло. Чтоб увидеть такое на роже этого паршивого сукина сына, почти стоило вытерпеть все, что я вытерпела после разговора с Селеной на пароме.

– Нет у них такого права! – орет. – Тебе цента поганого не выдали! Даже счета дерьмового не показали!

– Ах так? – говорю. – Тогда откуда же я знаю, что ты из них уже триста долларов спустил? Слава Богу, что не больше, но все равно меня зло берет, чуть вспомню. Ты же просто вор, Джордж Сент-Джордж! Такой вонючий, что у собственных детей крадешь!

В этом сумраке лицо у него стало белым, как у покойника. Одни глаза жили, и в них такая ненависть горела! Руки вперед протянул и кулаки сжимает. Я на секунду вниз глянула и увидела солнце – от него только толстый полумесяц оставался – во всех осколках дымчатых стекол у ног Джо. Потом я опять на него уставилась – он в такую ярость пришел, что опасно было отводить от него глаза.

– На что ты триста долларов потратил, Джо? На шлюх? В покер

просадила? Или и на то, и на то хватило? Что не на еще один драндулет, я знаю, потому как к прежним нового не прибавилось.

А он стоит и молчит, только кулаки сжимает и разжимает, и позади него первые светляки свои круги выписывают. Лодки на заливе еще видны – так, тени какие-то, и мне вспомнилась Вера. Если, думаю, она сейчас не на седьмом небе, так на пороге. Только о Vere думать не годилось, а только о Джо. Мне нужно было, чтоб он двигаться начал, и я решила, что еще одного хорошего тычка будет довольно.

– Да все равно мне, на что ты там их потратил, – говорю. – Остальные-то у меня, и ладно. А ты положи на себя... хоть какой-то толк от твоей разваренной макаронины будет.

Он, пошатываясь, попер на меня, только стекла под подошвами хрустят, и ухватил за плечи. Я б, конечно, могла от него убежать, только рано было, не пришло еще время.

– Ты не очень своему поганому языку волю давай, – шепчет. – Не то как бы я его не прищемил! – И дышит мне в лицо перегаром.

– Мистер Пийз хотел, чтоб я деньги опять в банк положила, да я не захотела: раз ты сумел до детских счетов добраться, то, глядишь, нашел бы способ и мой очистить. Тогда он мне чек предложил, а я отказалась, – если, думаю, ты про все узнаешь раньше, чем я сама тебе скажу, то похеришь его. И потому я попросила мистера Пийза выдать мне всю сумму наличными. Он сначала уперся, но потом все-таки по-моему сделал, и теперь они все у меня до последнего цента, и я для них надежное место нашла.

Тут он мне в горло вцепился. Я этого и ждала: мне страшно было, но все равно я этого хотела – чтоб ему легче поверилось тому последнему, что еще оставалось сказать. Но и тут было не самое главное. А только, когда он схватил меня за горло, выходило, будто я защищаюсь, вот и все. Вот что было самым главным. И что бы ни говорил закон, я правда только защищалась. Я знаю, потому что была там, а закона там не было. Под конец я защищалась и защищала своих детей.

Он меня придушил и мотал из стороны в сторону. Всего я не помню: думается, он стукнул меня затылком о столбик крыльца. И все повторял, что я проклятая сука и он меня убьет, если я не отдам ему деньги, что это его деньги – всякие такие глупости. Я уж испугалась, что он правда убьет меня до того, как я успею ответить, как ему хотелось. А вокруг совсем стемнело и плясали огоньки, точно к сотне светляков, которых я видела раньше, еще десять тысяч добавилось. И голос у него стал таким далеким, что мне показалось, будто все наоборот случилось, будто я в колодезь свалилась, а не он.

Наконец он меня отпустил. Я попыталась устоять на ногах, только они меня не держали, и я хотела сесть на стул, но он меня так далеко оттащил, что моя задница только краешек задела, и я плюхнулась на пол рядом с битым стеклом – осколками его видеоскопа. В самом большом полумесяц солнца сиял, будто алмаз. Я было потянулась за ним, но потом отдернула руку. Порезать его было нельзя, даже подпусти он меня к себе. Такой порез – стеклом – позднее мог показаться странным. Так что теперь вам ясно, какой у меня тогда был ход мыслей, и насчет того, предумышленное это убийство или нет, тоже все ясно, Энди, а? Вместо осколка я схватила свой отражатель, он был деревянный и тяжелый. Я бы могла сказать, будто решила, что в случае чего оглушу его, только это неправда. В ту минуту я не очень-то могла думать.

Зато кашляла – и так надрывно, что даже удивлялась, почему у меня изо рта только брызги слюны летят, а не кровь хлещет. В горле точно огнем жгло.

Он поднял меня на ноги – рванул так сильно, что у меня бретелька оборвалась, а потом обхватил за шею рукой и притянул к себе – хоть целуйся, да только про поцелуй он забыл.

– Я тебе говорил, что будет, если ты не бросишь со мной вольничать, – говорит, а у самого глаза мокрые и странные такие, точно он плакал, и я их очень испугалась, потому как смотрели сквозь меня, будто меня тут и нет вовсе. – Миллион раз тебе повторял. Теперь ты мне веришь, Долорес?

– Да, – говорю, да так, будто в рот мне грязь набилась – горло-то он мне сильно повредил. – Да, верю.

– Повтори! – говорит он. Мою шею он так и не выпустил, а теперь сжал так, что какой-то нерв защебил. Я закричала. Ничего с собой поделаться не могла, уж очень больно было. Гляжу, он во весь рот ухмыляется.

– Повтори, – говорит, – да так, чтоб видно было, ты вправду веришь!

– Верю! – кричу. – Верю я! – Я-то собиралась делать вид, будто испугалась, но Джо меня от лишних хлопот избавил, и притворяться мне в этот день не пришлось.

– Вот и хорошо, – говорит он. – Рад слышать. А теперь говори, где деньги, и если хоть на цент меньше окажется, то берегись!

– За сараем, – отвечаю. Голос у меня уже был не таким, будто мне в рот грязь набилась, а звучал, как у комика в «Жизнь прозакладываю». Ну прямо как по заказу, если вы понимаете, о чем я. Тут я ему сказала, что деньги закупорила в банке, а банку спрятала в ежевике.

– Чего от бабы и ждать! – съязвил он и толкнул меня к ступенькам. – Ну так пошли. Хватит им там валяться.

Я спустилась со ступенек и пошла вдоль дома, а Джо за мной идет. А темно уже почти как ночью, и когда мы вышли к сараю, я такое увидела, что на секунду обо всем позабыла. Остановилась и тычу пальцем в небо над ежевикой.

– Посмотри, Джо, – говорю. – Звезды!

И правда, Большая Медведица блестит ярко, будто в зимнюю ночь. У меня по коже мурашки забегали, а Джо наплевать было. Толкнул меня так, что я чуть на земле не растянулась.

– Звезды? – говорит. – Если не перестанешь тянуть, ты у меня и не такие звезды увидишь, это я тебе обещаю.

Ну, я пошла дальше. Тени от нас вовсе не падали, а белый валун, на котором мы с Селеной сидели вечером год назад, словно светился, как бывало в полнолуние. Только свет был не лунный, Энди, а какой – описать не могу, такой мрачный, жуткий, и надо было им обойтись. Расстояния определять трудно стало, совсем как при луне, а все ежевичные кусты в один слились – черная такая полоса, а перед ней светляки пляшут.

Вера мне сто раз говорила, что смотреть на затмение прямо очень опасно – можно сетчатку обжечь, а то и вовсе ослепнуть. Но все-таки у меня не было силы утерпеть и не взглянуть быстро через плечо вверх на небо – как не утерпела жена Лота и в последний раз поглядела через плечо на Содом. И то, что я увидела, сохранилось в моей памяти навсегда. Проходят недели, а то и месяцы, и я ни разу не вспомню про Джо, но дня не минует, чтоб я не вспомнила о том, что увидела тогда, поглядев через плечо вверх на небо. Жена Лота обратилась в соляной столп, потому что не сумела смотреть вперед прямо перед собой и не отвлекаться. Так мне иногда кажется, что я только чудом ту же цену не заплатила.

Затмение было еще не полное, но почти. Небо было темно-лиловым, и в нем над проливом висел вроде большой черный зрачок, почти окруженный прозрачным шарфом из огня. На одном краю еще оставалась тоненькая щепочка солнца, точно капли расплавленного золота в горне. Нельзя мне было отвлекаться и смотреть на это, я знала, но вот поглядела и оторваться не могла. Это было, как... как... Ладно, смейтесь, я все равно скажу. Словно мой внутренний глаз вырвался на свободу, взмыл в небо, а теперь глядит вниз, что я стану делать. Но был он куда больше, чем я даже представить могла! И чернее, много чернее!

Я б, наверное, смотрела бы на него, пока не ослепла, но Джо меня опять толкнул, так что я о стенку сарая ударилась. Ну тут я вроде проснулась и дальше пошла. Передо мной большой синий круг повис, как бывает, когда вам в лицо лампой-вспышкой пыхнут, и я подумала: «Если ты

себе сетчатку обожгла, Долорес, и до конца жизни только этот круг видеть будешь, так тебе и надо! Всего только печать, с какой Каин ходил».

Мы прошли мимо белого валуна – Джо мне чуть на пятки не наступают и за шиворот держат, и, чувствую, комбинация у меня набок съезжает, там, где бретелька оборвалась. А из-за темноты, да и синее это пятно передо мной маячит, все кругом словно другим стало и вроде бы местами поменялось... Дальний конец сарая будто черная полоска – ну прямо кто-то взял ножницы да вырезал из неба домик, только черная дырка и осталась.

Он толкнул меня в ежевику, и когда первый шип оцарапал мне икру, я только тут сообразила, что позабыла надеть джинсы. И сразу испугалась, не забыла ли я еще чего, ну да все равно – менять что-нибудь уже поздно было. В темноте я разглядела, как платочек на ветру колышется, и едва успела сообразить, с какой стороны крышка находится. А потом вырвалась от него и со всей мочи побежала через ежевику.

– Не уйдешь, стерва! – вопит он, и слышу, как кусты у него под ногами трещат. Он чуть снова меня за шиворот не ухватил, даже пальцами шею задел, но я вывернулась и поднажала. Бежать трудно было, потому что комбинация все ниже съезжала и цеплялась за колючки. Под конец они из нее длинную полоску выдрали и все ноги мне искорябали. От колен до лодыжек я вся в крови была, но заметила это, только когда вернулась в дом, а до того еще много времени прошло.

– Вернись! – орет, и тут его ладонь меня по локтю задела. Руку я отдернула, но он ухватил комбинацию – она уже вилась за мной на манер свадебного шлейфа. Не разорвись она, он бы меня к себе притянул, будто рыбу на удочке, да только она была старенькая и после трехсот стирок на ладан дышала. Я почувствовала, как кусок, в который он вцепился, оторвался напрочь, а он, слышу, выругался вроде бы не своим голосом и запыхавшись. Еще я слышала, как ветки ломались, трещали, хлестали по воздуху, а видеть уже почти ничего не видела. Чуть мы в ежевику углубились, темно стало, как у сурка в жопе, и от платочка моего толку никакого не было. Увидела я прямо край крышки – белесое что-то в темноте – и прыгнула, сколько сил хватило. И перескочила-таки. К нему я, конечно, спиной была и не видела, как он на крышку наступил. Вдруг треснуло, и он завопил...

Нет, не так.

Не завопил он, и ты, Энди, конечно, не хуже меня это знаешь. Он взвизгнул, как кролик, который лапой в капкан угодил. Обернулась – и вижу большую дыру в крышке, из нее голова Джо торчит, и он насмерть вцепился в обломанный край. Руки у него кровоточили, и изо рта кровь

струйкой по подбородку стекала. Глаза у него были, как блюдечки.

– Господи, Долорес, – говорит он. – Это же старый колодец! Помогите мне выбраться, пока я совсем не провалился.

А я стою, и через секунду-другую глаза у него изменились. По ним видно было, что он понял, как на самом деле все было. В жизни я такого страха не испытывала, пока стояла так у края колодца, смотрела на него, а в небе черное солнце висит к западу от нас. Я забыла джинсы надеть, а он не провалился вниз, как должен был. И кажется мне, что все не так пошло.

– А! – говорит он. – Сука ты! – И начинает руки перехватывать и извиваться, чтоб вылезти.

Говорю себе: беги! А ноги не слушаются. Да и куда б я убежала, вылезти он? Одну вещь в день затмения я твердо поняла: если живешь на острове и попробуешь убить кого, доведи дело до конца. Потому как бежать тебе некуда и спрятаться негде.

Я слышала, как его ногти по гнилой доске царапают, пока он руки перехватывает и подтягивается. Звук этот вроде того, что я увидела, когда на затменное солнце поглядела, так со мной и остался. Иногда я его даже в своих снах слышу, да только во сне он наружу вылезает и хватается меня, а этого не было. Было вот что: доска, на которую он выбирался, вдруг не выдержала, переломилась, и он свалился вниз. Так все это быстро произошло, что вроде бы он и не висел на ней. Ничего, кроме провисшей крышки из посеревшего дерева: в середине рваная дыра зияет, над ней светляки взад-вперед летают.

Он снова взвизгнул, пока вниз летел, и визг этот в колодце эхом отдался. Вот этого я тоже недоучла – что он вскрикнет, пока падать будет. Потом стукнуло, и он замолчал. Разом замолчал. Вот как лампа гаснет, если шнур из розетки выдернуть.

Я на колени опустилась, руками живот обхватила и жду, не будет ли чего дальше. Прошло какое-то время – много или мало, не знаю, только день полностью погас. Наступило полное затмение, и стало черно, как ночью. Из колодца все еще никаких звуков не доносилось, но от него на меня дул ветерок, и тут я поняла, что чую его запах – ну, такой, каким отдает вода из мелкого колодца, знаете? Медный такой запах, сырой и не очень приятный. Почуяла я его, и меня дрожь взяла.

Тут вижу, комбинация моя почти до левой туфли свисает – драная и вся в колючках. Я сунула руку за воротник справа и оборвала и эту бретельку. Потом сдернула комбинацию и выпуталась из нее. Я смяла ее в комок и прикидывала, как мне удобнее колодец обойти, как вдруг снова о той девочке подумала, про которую вам говорила, и опять ее увидела, ясно

так. Она тоже стояла на коленях и под кровать заглядывала, и я подумала: «Очень она несчастная и тот же запах чувствует – точно от медных монет и от устриц. Но только он не из колодца идет, а как-то связан с ее отцом».

И тут она словно бы оглянулась на меня, Энди... Думается, она меня тоже увидела. А как увидела, я поняла, почему она такая несчастная: ее отец что-то с ней сотворил, и она старалась спрятать это. А сверх этого вдруг поняла, что на нее кто-то смотрит, что женщина, Бог знает, в скольких милях от нее, но на пути затмения, женщина, которая только что убила своего мужа, смотрит на нее.

Она заговорила со мной, хоть ушами я ее голоса не слышала: он раздавался где-то глубоко у меня в голове. «Кто вы?» – спросила она.

Не знаю, ответила бы я ей или нет, но тут из колодца донесся долгий такой дрожащий крик:

– До-лоррррр-ииссс...

Во мне вроде вся кровь замерзла, и я знаю, что сердце у меня на секунду остановилось, потому как когда оно снова забилося, то должно было нагнать несколько ударов, и они слились в один. Я уже подняла комбинацию, но пальцы у меня разжались, когда я услышала визг, и она повисла на кусте.

«У тебя воображение разыгралось, Долорес, – говорю я себе. – Девочка, которая заглядывала под кровать, и крик Джо тебе померещились. Почудилось, потому что из колодца поднялся затхлый воздух, а крик – это твоя нечистая совесть. Джо лежит на дне колодца с разбитой головой. Он покойник и больше не будет пакостить ни тебе, ни детям».

Сначала-то я не очень этому поверила, но все было тихо, только где-то на лугу сова кричала. Я еще подумала, что она вроде злится, с чего это ей на смену пришлось заступать раньше времени. От ветра ветки ежевики шуршали и постукивали. Я посмотрела на звезды, сверкающие в дневном небе, потом опять на колодезную крышку. Она словно повисла в темноте, а дыра в середине, сквозь которую он провалился, показалась мне глазом. Двадцатого июля шестьдесят третьего мне глаза повсюду мерещились.

И тут из колодца снова донесся его голос:

– Помоги мне, До-лоррррр-ииссс...

Я застонала и закрыла лицо руками. Уж тут себя не убедишь, что мне опять почудилось или что моя нечистая совесть виновата: это Джо, и все. И он вроде бы плакал.

– Помоги-и-и мне-е-е... ПОМОГИИИИИИ ЖЕ... – стонал он.

Я кое-как обошла колодец и побежала по тропке, которую мы проломили в ежевике. Не то, чтоб я совсем голову от страха потеряла.

Этого не было, и вот почему я знаю – потому что я остановилась, чтоб подобрать отражатель, который держала, когда он погнал меня к ежевике. Как я уронила отражатель, пока бежала, у меня в памяти не осталось, но когда я увидела, что он свисает с ветки, я его схватила. И правильно сделала, если вспомнить чертова доктора Мак-Олиффа... Ну до этого я еще доберусь. Но я остановилась, чтоб забрать отражатель, вот в чем суть, и, значит, соображения я не потеряла. Но я чувствовала, как паника подлезает под него, точно кошка лапой под крышку кастрюльки с мясом, когда ее голод разбирает.

Я вспомнила про Селену, чтоб справиться с паникой, представила, как она стоит на берегу озера Уинтроп вместе с Таней и полусотней ребятишек из их лагеря – и у них у всех в руках по отражателю, которые они сами сделали в своей мастерской, и девочки показывают им, как наблюдать затмение. Видела-то я это вовсе не так ясно, как у колодца – девочку, которая под кровать заглядывала, искала свои шортики и блузку, но все-таки словно услышала, как Селена спокойным своим ласковым голосом ободряет перепугавшихся малышей. Вот о чем я думала... и еще о том, что должна быть дома, чтоб встретить ее и мальчиков, когда они вернутся, а если очумею от страха, так, возможно, буду тогда в другом месте. Слишком я уже далеко зашла, слишком много сделала и рассчитывать теперь могла только на себя.

Я вошла в сарай и нашла на верстаке Джо его большой фонарик на шести батарейках. Включила – и ничего. Батарейки давно сели, другого от Джо ждать не приходилось. Но в нижнем ящике хранились свежие батарейки – я все время подновляла их запас, потому как зимой мы часто без электричества сидели. Достала шесть штук и начала перезаряжать фонарик. Руки у меня до того тряслись, что я разроняла батарейки, и пришлось мне ползать за ними по всему полу. Потом все-таки заложила, но, наверное, в спешке сикось-накось, потому как он не загорелся. Я подумала бросить с ним возиться – ведь солнце скоро должно было снова засиять. Да только на дне колодца и тогда темно будет... И еще где-то глубоко голосок мне твердил, чтоб я подольше возилась – может, если я время потяну, так он успеет дух испустить, когда я к колодцу вернусь.

Ну под конец фонарик заработал: луч был ровный и яркий, а потому я могла добраться до крышки, больше ноги особо не кровяня. Сколько времени прошло, я понятия не имела, но было еще сумрачно и звезды еще посверкивали, так я решила, что еще шести нет, и солнце только-только из тени вылезать начало.

Еще на полдороге я поняла, что он жив, – услышала, как он стонет,

зовет меня по имени и просит, чтоб я помогла ему вылезти. Могли его услышать Джолендеры, Ленгджиллы или Кэроны, вернись они домой, я не знала. И решила больше об этом не думать: у меня и без того забот хватало. Главное было придумать, как с ним разделаться, но мне ничего в голову не приходило. Чуть попробую – и сразу этот голос во мне начинает вопить: «Нечестно! Нечестно! Мы так не договаривались: он должен был насмерть разбиться, черт дери! Насмерть!»

– Помогиии, До-лоррр-ииссс! – доносилось до меня. Глухой такой, отраженный звук, будто он в пещере кричал. Я включила фонарик и хотела внутрь заглянуть, но не смогла. Дыра в крышке была слишком далеко от краев, и луч только самый верх колодца освещал – обросшие мхом гранитные глыбы. Мох в свете фонарика выглядел черным и ядовитым.

Джо увидел свет.

– Долорес? – кричит. – Бога ради, помоги! Я весь искалечен!

Теперь казалось, что это у него рот грязью набит. Я не ответила – у меня такое чувство было, что я сразу свихнусь, если заговорю с ним. Просто отложила фонарик, протянула руку, насколько длины хватило, и достала-таки до края дыры. Я рванула доску, и она сразу обломилась, точно гнилой зуб.

– Долорес! – завопил он, едва услышал треск. – Слава тебе, Господи!

Я ничего не ответила, а продолжала доски обламывать одну за другой. К этому времени совсем развиднелось и птицы запели, точно летом на утренней заре. Однако небо еще было куда темнее, чем ему полагается в этот час. Звезды все погасли, но светляки еще летали. А я все обползаю колодец на коленях и ломаю доски.

– Долорес! – стонет его голос. – Забирай деньги! Все до последнего цента! И я больше до Селены не дотронусь. Господом Богом клянусь и всеми Его ангелами! Только помоги, родная, мне вылезти!

Тут я обломил последнюю доску – она вся была под плетями ежевики – и бросила ее себе за спину, а потом посветила фонариком вниз.

Луч сразу упал на его запрокинутое лицо, и я вскрикнула. Такой белый кружок с двумя черными дырками. Мне даже почудилось, что он зачем-то себе в глаза по камню вставил. Но тут он замигал, и вижу: на меня просто его глаза смотрят. Я себе представила, что они такое видят – да ничего: только яркий круг света и в нем – черную женскую голову.

Он стоял на коленях, а его подбородок, шея и грудь рубашки залиты кровью. Когда он открыл рот и выкрикнул мое имя, оттуда опять кровью плеснуло. Падая, он все ребра переломал, и они, верно, ему в легкие впивались, точно иголки дикобраза.

Я не знала, что делать. Скорчилась на краю, чувствую, как возвращается жара – шеей, руками, ногами чувствую, – и свечу на него фонариком. Тут он вздернул руки и вроде бы заплескал ими, будто тонул, и я не выдержала. Погасила фонарик и отползла от края самую чуточку. Сижу там, скорчилась в комок, обхватила свои исцарапанные колени и дрожу вся.

– Помоги! – кричит он снизу. – Помоги! – да: – Помогиии! – А под конец: – Помогииииииии! До-лоррр-ииссс!

Жутко это было, так жутко, что и вообразить невозможно. И продолжалось, продолжалось, пока я уж думала, что с ума сойду. Затмение кончилось, птицы перестали петь свои утренние песни, светляки кончили кружить – а может, я их просто видеть перестала. И в проливе, слышу, лодки сигналият и перекликаются, а он все не перестает. То просит и называет меня лапочкой, и перечисляет все, что сделает, если я его вытащу: построит нам новый дом и купит мне «бьюик», о котором я, дескать, всегда мечтала. А потом принимается меня проклинать и обещает привязать меня к стенке и засадить мне раскаленную кочергу между ног – полюбуется, как я на ней верчусь, и прикончит меня.

И даже попросил, чтоб я скинула ему эту бутылку «Джонни Уокера». Можете этому поверить? Просто изнывал по ней, а когда понял, что не получит ее, обозвал меня старой, грязной, рваной дыркой.

Наконец начало темнеть – по-настоящему темнеть, то есть уже полдевятого было, если не все девять. Я начала прислушиваться, но по Восточной дороге вроде бы пока ни одна машина не проехала. Хорошо, конечно, только я знала, что моя удача долго тянуться не будет.

Потом я вдруг вздернула голову и сообразила, что немножко задремала. Недолго – небо еще светлым оставалось, но светляки уже снова плясали, и сова опять заухала. Во второй раз за день это приятней звучало.

Я чуть подвинулась и просто зубами заскрипела, до того у меня руки-ноги затекли. И сразу так закололо ниже колен, хоть плачь. Зато в колодце тихо было, и я уж понадеялась, что он все-таки помер – скончался, пока я спала. И тут же услышала шорохи, постанывания и всхлипывания. Всхлипывания – они хуже всего – были, значит, каждое движение его как ножом резало.

Я оперлась на левую руку и опять посветила в колодец. Еле себя заставила, особенно потому, что вокруг уже совсем темно стало. Он умудрился подняться на ноги, и луч фонарика отражался от лужиц вокруг его рабочих сапог. И мне вспомнилось, как я солнце увидела в осколках дымчатых стекол, когда ему надоело меня душить и я на пол свалилась.

И теперь я наконец поняла, что произошло – почему, пролетев тридцать с лишним футов, он только расшибся, а не помер на месте. Колодец уже не был сухим. Нет, вода в нем не поднялась, не то бы он в ней захлебнулся, как крыса в дождевой бочке, но дно было сырым и мягким. Это смягчило удар, ну и что он пьян был, тоже, наверное, поспособствовало.

Он стоял там – голова опущена, покачивается, а ладонями в стенку уперся, чтоб снова не упасть. Тут он поглядел вверх, увидел меня и ухмыльнулся. Меня от этой ухмылки мороз по коже продрал, Энди, потому как это была ухмылка покойника – покойника, у которого лицо и рубашка вся в крови, покойника, у которого вместо глаз будто два камня.

И тут он полез вверх по стенке.

Я гляжу и своим глазам не верю. Всовывает пальцы между камнями, которые из стенки торчат, и подтягивается, пока ногой опоры не отыщет. Минуту передохнул, и вижу – его рука опять над головой шарит, словно жирный белый слизняк. Нашел выступ, уцепился, другой рукой перехватил и снова подтянулся. Когда опять остановился передохнуть, то задрал окровавленное лицо, и в луче фонарика я увидела, как ему на щеки и плечи кусочки мха сыплются.

И он ухмыляется, ухмыляется...

Энди, ты мне не дашь еще выпить? Да нет, не виски – его на сегодня хватит. А просто водички.

Спасибо. Большое спасибо.

Ну он новый выступ нащупывал, но тут нога у него соскользнула, и он опять вниз рухнул. Грязь так и чмокнула, когда он на задницу плюхнулся. Вскрикнул и за грудь ухватился, как актеры в телевизоре, когда сердечный приступ изображают, и голова у него упала на грудь.

Тут я не выдержала. Выбралась из ежевики и бегом к дому. И сразу в ванную. Тут меня выворотило. Потом пошла в спальню и легла. Меня всю колотило, а в голове одна мысль: что, если он все равно жив? Что, если он ночь проживет? Что, если еще дни и дни протянет, слизывая капли воды со стенок или зачерпывая ту, что поверх грязи просочится? Что, если он будет звать на помощь, пока его не услышат Кэроны, или Ленгджиллы, или Джолендеры и не вызовут Гаррета Тибодо? Не то кто-нибудь заглянет завтра в дом – какой-нибудь его собутыльник, либо позвать его мотор починить или с ними в море пойти, – заглянет и услышит, что в ежевике кто-то кричит? Что тогда, Долорес?

И тут еще один голос ответил на все эти вопросы. Думается, это внутренний глаз говорил, только, по-моему, звучал он не как голос Долорес

Клейборн, а больше как голос Веры Donovan – четкий, сухой, Целуй-Меня-В-Задницу, если не нравится. «Ну, конечно, он уже покойник, – говорил этот голос. – А нет, так скоро будет. Умрет от шока, переохлаждения и проткнутых легких. Возможно, не все поверят, что человек может умереть от переохлаждения в июльскую ночь, – но им просто не доводилось провести несколько часов в тридцати футах под землей на мокрых камнях. Я понимаю, что обо всем этом думать не так уж приятно, Долорес, но зато перестанешь тревожиться. Поспи-ка, а потом сходишь туда, посмотришь и сама увидишь».

Я не знала, верно он говорит или нет, только вроде бы выходило, что верно, и я попробовала заснуть. Только ничего не вышло. Чуть задремлю, так словно слышу, что Джо бредет вдоль сарая к задней двери, и чуть где что скрипнет, я сразу вскидывалась.

Ну, и не выдержала. Сняла платье, натянула джинсы и свитер (эка хватилась, небось вы думаете), забрала фонарик с пола ванной рядом со стульчиком, где я его бросила, когда меня рвать начало. И пошла назад.

Темно, хоть глаз выколи. Не знаю, светила в ту ночь луна или нет, да только все равно небо снова затянули тучи. И чем ближе я подходила к ежевике за сараем, тем хуже меня ноги слушались. А когда высветила фонариком верх колодца, они и вовсе подниматься перестали.

Но я все-таки заставила себя подойти к самому краю. Минут пять стояла, слушала, но только цикады цвиркают, ветер ежевикой шуршит да сова где-то ухает, может, та самая, которую я раньше слышала. Ну и еще в отдалении волны о мыс разбиваются – только к этому звуку на острове так привыкаешь, что и не слышишь его вовсе. Стою там с фонариком Джо в руке, луч в колодец направляю, а по всему моему телу липкий пот выступает, жжет ссадины и царапины от ежевичных шипов. Я себе приказываю стать на колени и заглянуть в колодец. Разве ж я не для этого сюда пришла?

Так-то так, а вот заставить себя не могу: только дрожу да постанываю. И сердце не бьется, а так, трепыхается в груди, будто птичка.

И тут из колодца выползла белая рука, вся в крови и в грязи, и вцепилась мне в лодыжку.

Я уронила фонарик. Он упал в кусты у самого края. Тут мне повезло: слети он в колодец, быть бы мне по уши в дерьме. Но ни о фонарике, ни о своем везении я не думала, потому как дерьма, в которое я вляпалась, и так хватало с избытком. Думать я могла только о руке, которая держала меня за лодыжку и тащила к дыре. И еще о строчке из Библии. Она у меня в голове гремела, как чугунный колокол: «Рыл ров для врагов своих и упал в яму,

которую приготовил».

Я закричала и попробовала вырваться, но Джо так в меня вцепился, словно руку в цемент окунул. Глаза у меня привыкли к темноте, и я его видела, хоть фонарик в другую сторону светил. Он-таки почти сумел выбраться из колодца. Только Богу известно, сколько раз он срывался вниз, но в конце концов добрался до самого края.

Думается, он бы вылез, не приди я в эту минуту. Голова его была только на два фута ниже того, что осталось от крышки. И он все еще ухмылялся. Его нижняя вставная челюсть чуть-чуть высунулась изо рта – я как сейчас ее вижу, вот как тебя вижу, Энди, и вид такой был, будто лошадь на тебя скалится. А некоторые зубы были черными от крови.

– До-лоррр-ииссс! – просипел он и все тянет меня, тянет. Я охнула, шлепнулась на задницу и заскользила к этой чертовой дыре, а сама чувствую, как ежевичные шипы впиваются в джинсы и ломаются, впиваются и ломаются, а я скольжу и скольжу по ним.

– До-лоррр-иисс, ссстееееерва, – говорит он, ну прямо поет! Помнится, я еще подумала: «Сейчас он «Лунный коктейль» затынет!»

Я уцепилась за ветки и ухватила горсть колючек и свежей крови. Хотела свободной ногой ударить его по голове, но не достала до нее, только раза два пробор ему задником туфли сделала.

– Давай же, До-лоррр-ииссс! – говорит он, будто зовет мороженого поесть или пойти потанцевать под оркестр у Фаджи.

Тут моя задница съехала на обломок крышки, который еще держался, и я поняла: надо что-то сделать, не то мы вместе слетим вниз, да и останемся лежать на дне, того и гляди обнявшись. А когда нас отыщут, найдутся люди – дуры вроде Иветты Андерсон, – которые скажут: сразу видно, как мы с ним любили друг друга.

И это помогло: я поднатужилась и опять назад дернулась. Он чуть меня не удержал, но тут его пальцы разжалась. Наверное, я ему туфлей в лицо заехала. Он взвизгнул, его рука раз-другой задела меня по носку – и нет ее. Я ждала, что услышу, как он на дно плюхнет... И ничего подобного! Сукин сын не сдался. Будь он в жизни таким же упорным, как в смерти, мы б с ним жили и горя не знали.

Я встала на колени и вижу, он в дыре болтается... но держится. Он поглядел на меня, потрянул головой, чтоб сбросить с глаз кровавую прядь, и ухмыльнулся. Тут одна его рука выползает из колодца и хватается за землю.

– Дол-ОО-рисс, – простонал он. – ДолООО-рисс. Дол-ООО-рисс. Дол-ООООО-рисс! – И лезет из колодца вон.

– Да разбей ему голову, дуреха! – вдруг сказала Вера Донован.

Нет, не в голове у меня, как та девочка, которую я во время затмения видела. Понимаете, о чем я? Голос этот я слышала, вот как вы, трое, сейчас меня слышите, а будь там аппаратик Нэнси, вы бы могли этот голос снова проиграть, сколько захотели бы. Я это знаю твердо, как свое собственное имя.

Так или не так, а я ухватила камень – один из тех, какими колодец обложен был. Он чуть было меня не сцапал за запястье, но я успела камень вывернуть. Большой, весь в засохшем мху. Занесла повыше, а он на камень смотрит. Голова его уже над краем высунулась, и глаза точно на стебельках торчат, как у улитки. Тут я его изо всех сил камнем треснула. И услышала, как его нижняя челюсть разбилась. Будто фарфоровая тарелка о кирпич стукнулась. И тут он сгинул – свалился назад в колодец, и камень с ним.

Тут я сознание потеряла. Как – не помню. Просто я на спину откинулась и поглядела в небо. А там из-за туч ничего не видно. Ну я и закрыла глаза... Да только, когда их открыла, на небе опять было звезд полно. Я даже не сразу сообразила, что лишилась сознания, и, пока лежала так, ветер разогнал тучи.

Фонарик все так же лежал в ежевике и светил ровно и ярко. Я его взяла и посветила в колодец. Джо лежал на дне. Голова на плечо скатилась, ноги раздвинуты, а между ними – камень, которым я его стукнула.

Я пять минут на него светила, проверяла, не зашевелится ли он. Не пошевелился. Тогда я в дом вернулась. По дороге два раза останавливалась, потому как в глазах туман стоял, но все-таки добралась. Вошла в спальню, разделась, бросила все куда попало, встала под душ, пустила воду погорячей, насколько терпеть можно, и минут десять так и стояла – не мылилась, волос не мыла, а просто стояла: лицо откинула, чтоб вода по нему стекала. Может, я бы так и заснула, только вода начала остывать. Я быстренько вымыла волосы, пока она совсем холодной не стала, и завернула кран. Руки и ноги у меня были все в царапинах, горло еще болело как проклятое, но от этого, думаю, не умирают. Мне даже в голову не пришло, как могут истолковать эти царапины, не говоря уж о синяках на шее, когда Джо отыщут. То есть тогда не пришло.

Надела я ночную рубашку, упала на кровать да и заснула, даже лампы не погасила. И с криком проснулась через полчаса – пальцы Джо мне лодыжку сжали. Тут я поняла, что это только сон, и мне полегчало было, но потом я подумала: «А что, если он сейчас из колодца вылезает?» Знала я, что нет этого, что я его прикончила, когда камнем стукнула и он второй раз вниз сорвался, но что-то во мне верило, будто он лезет вверх и через минуту вылезет. А уж тогда он со мной расправится.

Стараюсь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась все яснее, все четче, и сердце у меня колотилось так, что, думалось, оно вот-вот разорвется. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик и побежала туда прямо в ночной рубашке. Только к краю колодца я теперь подползла – подойти никак себя заставить не сумела. Боялась, что его белая рука вылезет из темноты и ухватит меня.

Ну потом все-таки посветила вниз. Он лежал как лежал: руки на коленях, голова на плечо скатилась. И камень на прежнем месте между его раздвинутых ног. Я долго смотрела, а когда пошла домой, то уверилась, что он и вправду покойник.

Забралась в кровать, погасила лампу и ухнула в сон. Напоследок я успела подумать: «Ну теперь я спокойна буду». Как бы не так! Часа через два просыпаюсь и слышу – в кухне есть кто-то, и знаю, что это Джо. Хотела с постели соскочить, а ноги в одеяле запутались, и я сорвалась на пол. Встала, нащупываю выключатель, а сама знаю: сейчас он меня за горло схватит.

Ну да, конечно, ничего такого не случилось. Я зажгла свет, обошла все комнаты. Всюду пусто. Опять ноги в туфли сую, беру фонарик и бегу к колодцу.

Джо лежит на дне – руки на коленях, голова на плече. И все-таки я долго глядела, пока не убедила себя, что плечо то самое, а не другое. И еще мне почудилось, что он ногой шевельнул. Конечно, это тень скользнула. А их много там скользило, потому как рука, которая фонарик держала, не слишком-то твердой была, можете мне поверить.

Скорчилась я там, волосы сзади перевязаны, и, думается, я немножко на даму смахивала на этикетке «Уайт Рок», и вдруг что-то на меня нашло: так и подмывает наклониться побольше да и слететь в колодец. Найдут меня с ним – не самый лучший конец, какой я бы себе пожелала, зато его руки будут меня обнимать... и не буду я то и дело просыпаться с мыслью, что он в комнате со мной, и не буду бегать к колодцу с фонариком проверять, правда ли, что он на дне мертвый лежит.

Тут опять раздался голос Веры – только теперь у меня в голове. Это я знала, как знала, что перед тем он говорил мне прямо в ухо. «Никуда ты не слетишь, а ляжешь в свою постель, – сказал этот голос. – Выспись, а когда проснешься, затмение и в самом деле кончится. Даже не представляешь, насколько все будет лучше выглядеть при солнце».

Это мне показалось разумным советом, и я послушалась. Но обе входные двери в доме заперла, а перед тем как лечь, сделала такое, чего ни

раньше, ни потом никогда не делала – приперла дверь спальни стулом. Мне стыдно в этом признаваться – что-то у меня щеки горят, и, думается, я вся красная сижу. Но толк, должно быть, был, потому что я заснула, едва голову на подушку опустила. А когда опять глаза открыла, в окно солнечный свет льется. Вера мне велела выходной взять, сказала, что Гейл Лейвс с помощницами приведет дом в порядок после празднования вечером двадцатого. И теперь я этому очень была рада.

Встала, опять душ приняла и оделась. На все у меня полчаса ушло, до того я себя разбитой чувствовала. Особенно спина разламывалась. Она у меня всегда чуть что болеть начинала с того самого вечера, когда Джо меня полешком по почкам съездил, и, думается, я ее опять потянула, когда камень из земли выворачивала, чтоб Джо ударить, да поднимала его над собой. Но какой бы ни была причина, болела она так, что в глазах темнело.

Ну когда я все-таки оделась, то села у кухонного стола на солнышке, выпила чашку черного кофе и давай думать, что мне еще сделать остается. Не так чтоб много, хоть все не совсем так сошло, как я рассчитала, но тут требовалось все правильно сделать. Если забуду что или прогляжу, так в тюрьму сяду. На Литл-Толл Джо Сент-Джорджа не слишком-то любили, и мало кто стал бы меня особо винить за то, что я сделала, но за то, что человека убьешь, ордена на тебя не повесят и чести тебе не воздадут, пусть он последнее дерьмо был.

Налила я себе еще черного пойла и вышла с ним на заднее крыльцо... чтоб оглядеться. Оба отражателя и один видеоскоп уже лежали в Верином пакете, а осколки второго видеоскопа валялись там, где он разбился, когда Джо вдруг вскочил и сбросил его с колен. Я над этими осколками долго раздумывала. А потом принесла веник с совком и смела их. Я решила, что при моем характере – а он на острове почти всем известен – подозрительнее будет, если я оставлю их валяться.

Поначалу я собиралась сказать, что днем Джо вообще не видала. Думала, скажу, что его не было дома, когда я от Веры вернулась, и он даже записки не оставил, куда его черт понес, и что я со злости взвыла да вылила это дорогое шотландское виски. И меня не беспокоило, что они установят, что Джо в колодец пьяный свалился: он спиртное где угодно мог раздобыть, хоть из нашего кухонного шкафчика.

Только мне одного взгляда в зеркало хватило, чтоб сразу эту историю забыть. Если Джо дома не было, чтоб насажать синяков мне на шею, они наверняка поинтересуются, кто их мне насажал, и что я отвечу? Санта-Клаус? По счастью, я себе щелочку оставила: я ж сказала Вере, что уйду затмение наблюдать на Восточный мыс, если Джо уж очень распояшется.

Тогда-то я эти слова без всякой задней мысли сказала, но теперь благословлять их готова была.

Конечно, не сам Восточный мыс – там наверняка люди были и скажут, что меня там не видели. А вот Русский луг по дороге туда очень даже подходил: вид на запад открытый, и там никогошеньки не было. Я, пока на крыльце сидела, видела. И потом, когда посуду мыла.

Тут только один вопрос был...

Что, Фрэнк?

– Нет, что его грузовичок у дома стоял, меня не тревожило. В пятьдесят девятом он не то три, не то четыре раза был остановлен пьяным за рулем и на месяц прав лишился. Эдгар Шеррик – он у нас тогда полицейским был – зашел как-то к нему и сказал, что пить он пусть пьет, пока коров домой не пригонят, коли ему так хочется, но в следующий раз, когда его остановят пьяным за рулем, он сам сволочит его в окружной суд, чтоб его прав на год лишили. Эдгар с женой не то в сорок восьмом, не то в сорок девятом дочку потеряли – ее пьяный шофер сбил, и хоть Эдгар на многое сквозь пальцы смотрел, пьяный за рулем для него хуже чумы был. Джо это знал, и с тех пор, как Эдгар с ним на нашем крыльце по душам потолковал, выпивши больше не ездил. Нет, я как с Русского луга вернулась, так подумала, что Джо какой-нибудь дружок увез затмение отпраздновать – вот что я отвечать собиралась.

А сказать я хотела, что мне только один настоящий вопрос решать пришлось – что делать с бутылкой из-под виски. Люди знали, что я последнее время выпивку ему покупала, но это как раз хорошо было – они ведь думали, что я от него так откупаюсь, чтоб он меня не мутузил. Но где эта бутылка очутиться могла, если бы история, которую я сочиняла, правдой была? Может, это значения и не имело, ну а вдруг? Совершив убийство, ведь не угадаешь, на чем потом споткнешься. Лучше причины, чтоб не убивать, я не знаю. Я поставила себя на место Джо – это было легче, чем вы, может, думаете, – и поняла, что Джо ни с кем и никуда бы не поехал, пока в бутылке оставался бы хоть глоток виски. Значит, ей место в колодце с ним – и туда она отправилась... кроме крышечки, а ее я бросила в мусорное ведро поверх кучки дымчатых осколков.

Шла я к колодцу, остатки виски в бутылке плещут, а я думаю: «Он к бутылке присосался, это ничего, я этого и ждала, но когда он мою шею вроде с ручкой от насоса спутал, это было чего, а потому я взяла мой отражатель и пошла одна на Русский луг, злясь на себя – и дернул же меня черт купить ему эту бутылку «Джонни Уокера». А когда вернулась, в доме его не было. Куда он отправился и с кем, я не знала да и знать не хотела.

Просто прибрала его безобразия и надеялась только, что домой он в другом настроении зайвится». Мне думалось, так выходит в меру кратко и наверняка сойдет.

Думается, эта чертова бутылка оттого меня доводила, что из-за нее надо было еще раз туда сходить и поглядеть на Джо. Ну да к тому времени рассуждать о том, что мне по вкусу, а что нет, уже поздно было.

Меня тревожило, в каком виде ежевика окажется, но оказалось, что она поломана и примята меньше, чем я боялась, а кое-где уже и расправляться начала. Ну и подумала, что она совсем прежней станет к тому времени, когда я про Джо заявлю.

Я надеялась, что днем колодец не таким жутким покажется... Как бы не так! Дыра в середине крышки совсем уж жуткой выглядела. Правда, из-за выломанных досок она уже не так на глаз смахивала, но это все равно не помогало. Теперь она не на глаз смахивала, а на глазницу, в которой что-то напроочь сгнило и вывалилось. И опять этот сырой медный запах... Он мне напомнил про девочку, которую я видела мысленно, и я подумала: а как она себя чувствует утром после вчерашнего?

Меня тянуло повернуться и убежать в дом, но я твердым шагом дошла до самого колодца: мне хотелось поскорее со всем разделаться и уж больше назад не оглядываться. С того дня, Энди, думать я должна была только о своих детях и смотреть только вперед.

Пригнулась я и заглянула внутрь. Джо так и лежал – с руками на коленях и с головой на плече. По его лицу жуки ползали, и вот это меня раз и навсегда убедило, что он и правда покойник. Бутылку я держала за горлышко через носовой платок – не из-за отпечатков пальцев, просто я к ней прикасаться не хотела – ну и уронила туда. Она хлопнулась в грязь рядом с ним, но не разбилась. А жуки все равно расползлись – по шее и за воротник. Никогда этого не забуду.

Я уж встала и хотела уйти – от жуков этих меня опять выворачивать начало – и тут вдруг заметила доски, которые выломала, чтоб туда в первый раз заглянуть. Оставлять их нельзя было – сразу вопросы начнутся, что это они тут валяются.

Стала я думать, что мне с ними делать, и тут подумала, что время-то идет и кто-нибудь может заглянуть ко мне посудачить о затмении или о Вериных затеях, а потому послала их к черту и просто пошвыряла вниз в колодец. Потом вернулась в дом, а вернее будет сказать, потрудились по пути в дом, потому как на шипах болтались обрывки моего платья и комбинации, ну снимала их, сколько удалось. Днем я опять туда ходила и сняла три-четыре клочка, которые сразу не заметила. Там были и

волоконца с рубашки Джо, но их я не тронула. «Пусть-ка Гаррет Тибото поломает над ними голову, – думаю. – Пусть-ка объяснит, чего они означают – и он, и кто хочет еще. Выглядит так, будто он напился и провалился в колодец, а с его здешней славой, что б они ни решили, почти наверняка будет в мою пользу».

Но клочочки эти я не бросила в ведро к битому стеклу и крышечке от «Джонни Уокера». Их я попозже в океан бросила. Перешла я через двор и уж хотела на крыльцо подняться, и тут меня как ударило. Джо выдрал полоску из моей комбинации, когда она за мной волочилась... а что, если он так этот клочок и держит? Сжимает в руке, которая у него на колене лежит на дне колодца?

Я прямо похолодела... Вот-вот! Стою посреди двора под жарким июльским солнцем, а по коже мурашки бегают, а я оледенела до мозга костей, как в одном стишке говорилось, который я в школе учила. И тут снова Вера у меня в мозгу заговорила. «Поскольку, Долорес, ты ничего изменить не можешь, – говорит она, – то рекомендую тебе махнуть рукой». Это она правильно посоветовала. Я поднялась на крыльцо и вошла в дом.

До конца утра я бродила по дому, на крыльцо выходила, все высматривала... Сама не знаю, что я высматривала. Может, думала, что внутренний глаз заметит, чего еще надо сделать или спрятать – ну как с этой кучкой досок было. Ну не знаю, только я ничего не заметила и не удумала.

Часов в одиннадцать я следующий шаг сделала – позвонила Гейл Лейвс в «Сосны». Спросила ее, как ей затмение и все прочее, а потом спросила, что там деется у ее светлости.

– Ну, – говорит Гейл, – жаловаться мне вроде бы не на что: я ж пока никого не видела, кроме лысого старикана с усами щеточкой... Понимаешь, про кого я?

– Понимаю, – говорю.

– Спускается так в полдесятого, выходит в сад и бродит там – еле ноги волочит и за голову держится, но хоть встал и оделся, не то, что все прочие. Когда Карен Джолендер спросила, не подать ли ему стакан свежего апельсинового сока, он подбежал к углу веранды и облевал петунии. Слышала бы ты его, Долорес! Кхи-кхе-кха!

Я чуть не до слез смеялась. Редко когда мне так хорошо от смеха делалось.

– Видно, они хорошо погуляли, когда с парома вернулись, – говорит Гейл. – Если б мне по пять центов заплатили за каждый окурок, который я утром выбросила, – всего-то какие-нибудь паршивые пять центов, – так я

бы могла новенький «шевроле» купить! Но я глянец наведу, до того как миссис Донован притащится со своим похмельем вниз, ты не беспокойся.

– Знаю, – говорю. – А если тебе помощь требуется, так ты знаешь кого позвать.

Тут Гейл засмеялась.

– Управлюсь, – говорит. – Ты и так всю последнюю неделю надрывалась. И миссис Донован это знает не хуже меня. До завтрашнего утра она тебя видеть не желает. И я тоже.

– Ну ладно, – говорю и маленькую такую паузу сделала. Она думала, я «до свидания» скажу, а когда я совсем другое сказала, так ей должно было запомниться... Чего я и хотела. – Ты Джо там не видела? – спрашиваю.

– Джо? – говорит. – Твоего Джо?

– Ну, да.

– Нет... я его тут не видела. А что?

– Он вчера ночевать не пришел.

– Ах, Долорес! – говорит она вроде как с ужасом, но и с интересом. – Запил?

– Само собой, – отвечаю. – Да я и не очень беспокоюсь – не в первый раз он всю ночь где-то на луну выл. Ничего, явится еще, пьяному и море по колено.

Тут я трубку положила: чувствую, что первое семечко я ловко посеяла.

На завтрак я себе поджарила сэндвич с сыром, а есть не смогла. От запаха сыра и жареного хлеба у меня в животе даже жарко стало. Вместо еды я проглотила пару таблеток аспирина и прилегла. Совсем и не думала, что засну, а открыла глаза – уже почти четыре, и пора еще семена сеять. Звоню друзьям Джо – то есть тем, у кого телефон был, а таких раз-два и обчелся – и каждого спрашиваю, не видел ли он Джо. Вчера он домой ночевать не приходил, говорю, и до сих пор не пришел, ну, и я беспокоиться начала. Они мне все, конечно, «нет» ответили, и каждый старался выведать, что у нас было-то, но кое-что я сказала только Томми Андерсону – думается, потому как я знала, что Джо хвастал перед Томми, как он свою бабу в струне держит, и бедняга Томми по простоте всему верил. Но все равно я постаралась не перегнуть палку. Просто сказала, что мы с Джо поссорились и Джо, похоже, так озлился, что ушел. Вечером я еще кое-кому звонила, а некоторым и по второму разу. И очень обрадовалась, что уже начались разговоры.

Ночью я спала скверно. Сны видела жуткие. Один про Джо. Он стоял на дне колодца и смотрел вверх на меня – белое лицо и два черных кружка над носом, будто он засунул в глаза по углю. Он жаловался, что совсем

один там, и просил меня спрыгнуть к нему.

А второй сон был еще хуже, потому что он был про Селену. Ей четыре годика, и на ней розовое платьице, которое ей бабушка Трайша купила перед самой своей смертью. Селена подходит ко мне во дворе, и я вижу – у нее в руках мои ножницы для кройки. Я протянула руку к ним, а она головой замотала. «Вина моя, – говорит, – и платить должна я». Поднесла ножницы к лицу и откромсала себе нос. Чик – и все. Он упал в грязь между ее лакированными туфельками, и я проснулась от собственного крика. Было только четыре, но у меня ума хватило понять, что спать я больше не буду.

В семь снова позвонила в «Сосны». Ответил Кенепенски. Я ему сказала, что Вера меня ждет с утра, я знаю, но прийти не смогу – во всяком случае, пока не узнаю, куда девался мой муж. Я сказала, что он вторую ночь домой не возвращался, а прежде никогда, как бы пьян ни был, дольше одной ночи нигде не оставался.

Под конец нашего разговора Вера сняла вторую трубку и спросила, что происходит.

– Муж у меня куда-то пропал, – отвечаю.

Она помолчала – я б дорого дала, чтоб узнать, о чем она думала. Потом она сказала, что, будь она на моем месте, пропажа Джо Сент-Джорджа ее бы совсем не огорчила.

– Только вот, – отвечаю, – у нас трое детей, да и к нему я вроде как привыкла. Если он вернется, я тогда приду.

– Отлично, – говорит она, а потом добавляет: – Тед, ты слушаешь?

– Да, Вера, – говорит он.

– Ну так займись чем-нибудь достойным мужчины. Забей что-нибудь или опрокинь. Мне все равно.

– Да, Вера, – повторяет он, и в трубке щелкнуло – он свою положил.

Но Вера все равно немножко помолчала. А потом говорит:

– Может, с ним что-то случилось, Долорес?

– Да, – отвечаю, – и я не удивлюсь. Он последние недели пил по черному, а когда я в день затмения попробовала заговорить с ним о детских деньгах, он чуть меня насмерть не задушил.

– А!.. Неужели? – говорит она. Еще помолчала, а потом сказала: – Желаю удачи, Долорес.

– Спасибо, – говорю. – Надо быть, она мне понадобится.

– Если я чем-нибудь смогу помочь, позвони.

– Вы очень добры, – отвечаю.

– Вовсе нет, – отрезала она. – Просто мне совсем не хочется тебя

терять. В наши дни где взять прислугу, которая не будет замечать мусор под ковер?

А тем более прислугу, которая не забудет коврик с надписью правильно повернуть, подумала я, но вслух не сказала. Только еще раз ее поблагодарила и повесила трубку. Выждала еще полчаса и позвонила Гаррету Тибодо. В те дни Литл-Толлу начальники полиции положены не были, только городской полицейский. Ну Гаррет и занял это место, когда Шеррика в шестидесятом хватил удар.

Я сказала ему, что Джо две последние ночи домой не показывался и мне что-то тревожно. Гаррет чего-то мямлил – по-моему, он только-только встал и еще кофе толком не допил. Но обещал сообщить полиции на материке и порасспрашивать кое-кого на острове. Я знала, что спрашивать он будет тех, кому я уже звонила – некоторым и по два раза, – но ничего ему не сказала. Гаррет добавил, что к обеду Джо, конечно, придет домой, и повесил трубку. «Как же, жди, пердун старый, – подумала я и тоже трубку повесила. – Когда рак свистнет». Думается, у него хватило бы мозгов пропеть «Янки-Дудль», на унитазе сидя, хотя половину слов он, конечно, перезабыл бы.

Целая чертова неделя прошла, прежде чем они его отыскали, и я совсем было свихнулась. В среду вернулась Селена. Я ей вечером во вторник позвонила, что ее отец пропал и дело вроде бы серьезное. Я спросила, хочет ли она вернуться домой, и она ответила, что хочет. Мелисса Кэрон – мать Тани, понимаете? – съездила за ней. Мальчиков вызывать не стала. Для начала и одной Селены куда как хватало. Она застала меня в моем огорожке в четверг, за два дня до того, как они наконец нашли Джо, и сказала:

– Мама, ответь мне, пожалуйста.

– Хорошо, деточка, – говорю. По-моему, голос у меня спокойный был, но я уже знала, что дальше будет... Очень хорошо знала.

– Ты с ним что-то сделала? – спрашивает она.

А мне сразу мой сон вспомнился, как Селене четыре годика и она в розовом платице себе ножницами нос откромсала. И я подумала... ну просто взмолилась: «Господи, помоги мне солгать моей дочке. Прощу Тебя, Господи. Я Тебя больше никогда ни о чем просить не буду, только помоги мне сейчас солгать мой дочери так, чтоб она мне поверила и потом не сомневалась».

– Нет, – отвечаю. На мне садовые перчатки были, но я их сняла и положила руки ей на плечи, а сама смотрю ей прямо в глаза. – Нет, Селена, – сказала я ей. – Он был пьян, и безобразил, и так меня за горло

схватил, что синяки остались, но я ему ничего не сделала. А просто ушла. Потому ушла, что побоялась остаться. Ты-то можешь это понять, верно? Понять меня и не винить? Ты-то знаешь, что значит – бояться его, так ведь?

Она кивнула, а сама мне в глаза смотрит. И глаза у нее такие синие, какими я их еще не видела, – точно океан перед линией шквала. А я мысленно вижу, как ножницы сверкнули и ее носик-кнопочка в пыль падает. И знаете, что я думаю? Что Бог половину моей молитвы исполнил. Есть у Него такая привычка, я много раз замечала. Сколько я потом про Джо ни врала, самой убедительной ложью была та, которую я сказала Селене в тот жаркий июльский день среди фасоли и огурцов... А поверила она мне? Поверила и больше не сомневалась? Хотела бы я ответить «да», но не могу. У нее глаза тогда темными стали от сомнения – и тогда, и после. Навсегда.

– Самое большое, в чем я виновата, – говорю, – так это в том, что купила ему бутылку виски... старалась его задобрить... А ведь могла знать, чем это кончится.

Она еще минуту на меня смотрела, потом нагнулась и взяла пакет с огурцами, которые я нарвала.

– Хорошо, – сказала она. – Я их отнесу на кухню.

И ничего больше. С этого дня мы о нем не говорили – и до того, как его нашли, и после. Она наверняка всякого обо мне наслушалась и на острове, и в школе, но мы никогда об этом не говорили. Вот тогда и начал заползать холод – с того дня в огороде. И между нами в стене, которой семьи отгораживаются от остального мира, появилась трещина. С той поры она становилась только все шире и шире. Она звонит мне и пишет аккуратно, как часы, и очень внимательна, но все равно мы разделены. Мы будто чужие. То, что я сделала, было сделано больше всего ради Селены, а не из-за мальчиков или денег, которые ее отец украл. Больше всего ради Селены я заманила его на смерть, и я ее от него оградила ценой всего лишь лучшей части ее любви ко мне. Я как-то слышала от моего отца, что Бог подложил большую свинью в день, когда Он сотворил мир, и с годами я начала понимать эти слова. И знаете, что самое скверное? Иногда это смешно! До того смешно, что никак от смеха не удержаться, хоть все вокруг тебя прахом идет.

А тем временем Гаррет Тибодо и его дружки все не находили и не находили Джо. Я уж подумывала сама на него наткнуться, хоть мне от этой мысли и тошно было. Если б не деньги, так по мне лежать бы ему там до Судного Дня. Но деньги-то лежали в Джонспорте в банке на его счету, и мне не очень-то улыбалось ждать семь лет, пока его по закону не объявят

мертвым. Селене до колледжа чуть больше двух лет оставалось, и для начала ей кое-какая наличность требовалась.

Тут наконец начали поговаривать, что Джо мог забрать свою бутылку в лес за домом и либо в капкан попался, либо пьяный с обрыва свалился, когда назад шел. Гаррет клялся, что это он сообразил, но мне не очень-то верилось – как-никак я с ним в школе училась. Ну да не важно. Днем во вторник он вывесил объявление на двери городского управления и в субботу утром – через неделю после затмения – повел на поиски человек сорок – пятьдесят.

Они цепочкой от конца Восточного мыса прошли к дому через лес и Русский луг. Я видела, как они через луг шли около часа дня – смеялись и перешучивались, да только шуточки кончились и ругань началась, когда они вошли в ежевичник на нашем участке.

Я стою в дверях, смотрю, как они подходят, а сердце у меня колотится, просто из груди выпрыгивает. Я, помню, подумала: хорошо еще, что Селены дома нет – она к Лори Ленгджилл в гости ушла, ну и слава Богу. Тут я подумала, что пошлют они эти колючки куда подальше и бросят искать прежде, чем до колодца дойдут. Но они шли да шли вперед, и тут, слышу, Сонни Бенуа как заорет:

– Эй, Гаррет! Сюда! Сюда! – И я поняла, на радость ли, на беду, а Джо отыскивали.

Ну, конечно, было вскрытие. В тот же день, как его нашли, и, думается, они еще не закончили, когда Джек и Алисия Форберт под вечер привезли мальчиков домой. Пит плакал, но словно бы совсем был сбит с толку: по-моему, он просто не понимал, что случилось с его отцом. А вот Джо Младший понял, и, когда он отвел меня в сторону, я уж думала, что он меня спросит, как Селена, и собралась с духом соврать и ему. Только он сказал совсем другое.

– Мам, – сказал он, – если я радуюсь, что он умер, Бог пошлет меня в ад?

– Джо, человек не властен над тем, что чувствует, и, думается, Бог это знает, – сказала я.

Тут он заплакал и прошептал такое, от чего у меня сердце надорвалось.

– Я старался его любить, – прошептал он мне. – Все время старался, а он все делал, чтоб я не мог.

Я его обняла, просто стиснула изо всех сил. Думается, я даже чуть не заплакала – в первый раз за все это время... Ну да не забудьте, спала я скверно и еще не знала, как обернется дело.

Следственный суд назначили на вторник, и Люсьен Мерсье – он тогда на Литл-Толле был единственным гробовщиком, – сказал мне, что похоронить Джо мне разрешат в среду. Но в понедельник, накануне суда, Гаррет позвонил мне по телефону и попросил зайти к нему на пару минут. Звонка этого я все время ждала и боялась, но идти-то надо было, и потому я попросила Селену покормить мальчиков и отправилась. Гаррет был не один. У него сидел доктор Джон Мак-Олифф. Я и этого ждала, и душа у меня еще больше в пятки ушла.

Тогда Мак-Олифф был судебным медиком графства. Он через три года погиб – снегоочиститель врезался в его маленький «фольксваген». Его место занял Генри Брайртон. Будь Брайртон судебным медиком в шестьдесят третьем, мне бы куда легче на душе было во время нашей беседы в тот день. Конечно, Брайртон поумнее бедняги Гаррета Тибодо был, но самую чуточку. А вот Джон Мак-Олифф... У него был ум прямо как Баттисканский маяк.

Он был самый что ни на есть доподлинный шотландец – в наши края перебрался сразу после второй мировой войны, и выговор у него шотландский был и словечки. Думается, он стал американским гражданином – ведь он и лечил, и должность занимал, но все равно говорил не по-нашему. Ну мне-то от этого легче не было, я знала, что от разговора мне с ним не уйти, будь он американец, шотландец или китаец косоглазый.

Волосы у него были белее снега, хоть ему лет сорок пять исполнилось, не больше. А глаза голубые и такие блестящие, острые, точно два сверла. Посмотрит на тебя, и чувство такое, будто он прямо тебе в голову заглядывает и твои мысли по алфавиту выстраивает. Чуть я его рядом с Гарретом увидела – он сидел у края стола – и услышала, как дверь за мной закрылась, то сразу поняла: завтрашнее расследование в суде на материке гроша ломаного не стоит. Настоящее расследование начнется сейчас вот здесь, в тесном кабинете городского полицейского под календарем «Уэберойл» на одной стене и фотографией Гарретовской матери на другой.

– Извините, что я побеспокоил вас в вашем горе, Долорес, – сказал Гаррет. Он руки потирал, вроде нервничал, и мне вспомнился мистер Пийз из банка. Только у Гаррета мозолей на ладонях побольше было, потому как они шуршали, будто наждачная бумага по сухой доске. – Но вот доктор Мак-Олифф хотел бы задать вам несколько вопросов.

А сам смотрит на него такими глазами, что сразу видно – какие это вопросы, ему неизвестно, и я перепугалась еще больше. Не понравилось мне, что этот лиса шотландец считает дело слишком серьезным, чтоб дать бедняге Гаррету Тибодо случай все изгадить.

– Примите мои глубочайшие соболезнования, миссис Сент-Джордж, – говорит Мак-Олифф с шотландским своим акцентом. Он был коротышка, но плотненький и сложен хорошо. Усики такие аккуратные и совсем седые на манер волос, и в шерстяном костюме-тройке он был похож на здешний народ не больше, чем его акцент на американский. Его голубые глаза так и сверлили мне лоб, и я сразу поняла, что все его соболезнования – пустые слова и сочувствия в нем ни на грош нету – даже и к себе, что уж о других говорить. – Я весьма сожалею о вашем несчастье и потере.

Уж конечно, думаю, так я тебе и поверила! Да ты в последний раз сожалеел, когда сунул пятицентовик на ниточке в платный туалет, а ниточка и оборвись! Но я тут же решила ни за что ему не показывать, до чего я перепугалась. Может, он меня изловил, а может, и нет. Не забывайте, я знать не могла, а вдруг он мне скажет, что положили они Джо на стол в подвале больницы, разжали его кулаки, а из одного выпал обрывочек белого нейлона... от женской комбинации. Очень даже могло быть и так, но ежиться под его взглядом я не собиралась. Нет уж! А он по привычке, что люди ежатся, когда он на них смотрит, и, верно, считал, что это ему положено, и удовольствие получал.

– Большое вам спасибо, – говорю.

– Вы не присядете, сударыня? – спрашивает он, будто у себя в кабинете сидит и хозяин тут он, а не бедняга Гаррет, который совсем оробел, даже смотреть жалко.

Ну я села, а он спрашивает, не разрешу ли я ему курить. Я отвечаю, что воздуха на всех хватит. Он засмеялся, будто я невесть как пошутила... но глаза у него все такие же оставались. Достает старую черную трубку из кармана пиджака, пеньковую, и набивает ее. А глаз от меня не отводит. Даже когда он ее в зубах зажал и она задымила, он все так же с меня глаз не спускал. Мне даже жутко стало, как они на меня сквозь дым пялятся, и опять мне Баттисканский маяк вспомнился: говорят, его за две мили видно, даже когда ночью такой туман стоит, что хоть ножом режь.

И начала я под этим взглядом ежиться своему решению вопреки, и тут я подумала, как Вера Донован говорит: «Чепуха, Долорес! Мужья каждый день умирают». Мак-Олифф, думаю, мог бы на Веру пялиться, пока у него глаза на пол не попадали бы, а она бы, как скрестила ноги бы, так и сидела. От этой мысли мне полегче стало, и я успокоилась. Сложила руки на сумочке и жду, пока ему смотреть не надоест.

Наконец когда он убедился, что я не брякнусь со стула на пол каяться, что я своего мужа убила – а слезы градом катятся, уж это бы ему понравилось! – он вытащил трубку изо рта и сказал:

– Вы сказали полицейскому, что синяки на вашей шее оставил ваш муж, миссис Сент-Джордж.

– Да, – отвечаю.

– Что вы с ним сели на крыльце наблюдать затмение и между вами началась ссора.

– Да.

– А могу ли я спросить о причине ссоры?

– Сверху деньги, – отвечаю, – а снизу выпивка.

– Но ведь вы же сами купили ему виски, которое он пил в тот день, миссис Сент-Джордж! Не так ли?

– Да, – говорю. И чувствую, хочется мне добавить, объяснить, но я не стала, хоть мне и было что сказать. Но Мак-Олифф ведь только этого и добивался – чтоб я язык распустила. И объясняла бы, пока себя в тюрьму не засадила.

Наконец он бросил выжидать. Покрутил пальцами, будто от досады, а потом опять уставил на меня эти свои маячные глаза.

– После того что произошло, когда он схватил вас за шею, вы оставили своего мужа, вы пошли на Русский луг по дороге к Восточному мысу, чтобы наблюдать затмение в одиночестве.

– Да.

Тут он вдруг наклоняется, упирается ручонками в коленки и говорит:

– Миссис Сент-Джордж, вы знаете, какой ветер дул в тот день?

Ну прямо как в тот ноябрьский день в шестьдесят втором, когда я нашла старый колодец, чуть в него не провалившись, – я словно тот же треск услышала и подумала: «Поосторожнее, Долорес Клейборн! Ой, поосторожнее! Сегодня колодцы повсюду, и этот коротышка знает, где каждый из них!»

– Нет, – говорю, – не знаю. А когда я не знаю, откуда ветер дует, это обычно значит, что день безветренный.

– Собственно говоря, был только бриз, легкий... – начал Гаррет, но Мак-Олифф задрал ладонь и отрубил его слова точно ножом.

– Он дул с запада, – говорит. – Западный ветер... западный бриз, если вам угодно, от семи до девяти миль в час, с порывами до пятнадцати. Мне кажется странным, миссис Сент-Джордж, что этот ветер не донес до вас криков вашего мужа, пока вы стояли на Русском лугу менее чем в полумиле от него.

Я молчала по меньшей мере три секунды – я решила, что буду про себя считать до трех, прежде чем отвечать на любой его вопрос. Считая, я уже не могла второпях ухнуть в яму, которую он для меня выкопал. Но Мак-

Олифф, видно, подумал, что сбил меня с панталыку, потому что весь подался вперед на стуле, и глаза у него, честное слово, на секунду-другую из блестящих голубых стали раскаленно белыми.

– Меня это не удивляет, – говорю. – Во-первых, семь миль в час – это так, легкий ветерок в душный день. А во-вторых, в проливе всяких яхт и лодок около тысячи было, и все сигналили и перекликались друг с другом. И откуда вы знаете, что он кричал? Уж вы-то его никак слышать не могли.

Он на спинку откинулся, и вид у него немножко недовольный.

– Это вполне логичное предположение, – говорит. – Нам известно, что падение его не убило, и данные осмотра и вскрытия почти неопровержимо указывают, что по меньшей мере один протяженный период времени он находился в сознании. Миссис Сент-Джордж, если бы вы упали в заброшенный колодец и обнаружили, что у вас сломаны голень, лодыжка, четыре ребра и вывихнута кисть, разве бы вы не стали звать на помощь?

Я отсчитала три секунды – мой милый пони между каждой, – а потом сказала:

– Так в колодец-то, доктор Мак-Олифф, не я упала, а Джо. И он был выпивши.

– Да, – режет доктор Мак-Олифф. – Вы купили ему бутылку шотландского виски, хотя все, кого я ни спрашивал, утверждали, что вы терпеть не могли, чтобы он пил, – хотя, напиваясь, он становился очень неприятным и агрессивным. Вы купили ему бутылку шотландского виски, и он не просто выпил, он был пьян. Очень пьян. Кроме того, рот у него был полон крови и рубашка была залита кровью до пряжки пояса. Если сопоставить наличие этой крови с фактом сломанных ребер и сопутствующими повреждениями легких, вы знаете, какой напрашивается вывод?

Раз, мой милый пони... два, мой милый пони... три, мой милый пони.

– Не знаю, – говорю.

– Несколько сломанных ребер проткнули легкие. Подобные повреждения всегда ведут к кровоизлияниям, но редко к столь интенсивным. И в данном случае, я полагаю, сильное кровотечение было вызвано тем, что покойный неоднократно звал о помощи. – Он так и сказал, Энди: звал о помощи.

Это не был вопрос, но я все равно сосчитала до трех и только потом сказала:

– Вы думаете, что он там, внизу, звал на помощь. Собственно, это и все.

– Нет, сударыня, – говорит он. – Я не думаю, я полностью уверен.

Тут я считать не стала.

– Доктор Мак-Олифф, – говорю, – вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец?

Тут я его немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли. Он повертел свою трубку, покрутил, а потом снова всунул в рот и затянулся, а сам голову ломает, как ему из этого выкрутиться.

И Гаррет раньше него заговорил. Лицо у него красней редиски стало.

– Долорес, – говорит, – уверен... никто не думает... то есть никому и в голову не приходит, что...

– Нет, – перебивает Мак-Олифф, – мне пришло. Вы понимаете, миссис Сент-Джордж, это моя обязанность...

– Да хватит меня миссис Сент-Джордж да миссис Сент-Джордж называть, – говорю я. – Если вы думаете обвинить меня, что я сначала мужа в колодец столкнула, а потом стояла и слушала, как он на помощь зовет, так валяйте, называйте меня Долорес.

Я не то чтобы хотела его снова сбить, Энди, но провалиться мне, если у меня это снова не получилось – второй раз за две минуты. Думается, с времен медицинского училища его еще никто так не конфузил.

– Никто вас ни в чем не обвиняет, миссис Сент-Джордж, – говорит он сухо так, а в глазах у него читаю: «Пока еще».

– Вот и хорошо, – говорю. – Потому что думать, будто я Джо в колодец столкнула, – это, знаете ли, глупость, каких мало. Он же тяжелее меня на пятьдесят фунтов, а то и больше. За последние годы он здорово разжирел. И он сразу кулаки в ход пускал, чуть кто его разозлит или просто под руку попадет. Я вам это говорю, потому что была его женой шестнадцать лет, и спрашивайте, кого хотите, вам то же самое скажут.

Конечно, Джо давно ко мне пальцем не прикасался, только на острове все думали, будто он меня по-прежнему мутузит когда ни попадя, а я помалкивала и теперь очень этому рада была – пока голубые глаза Мак-Олиффа так и всверливались мне в лоб.

– Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец, – сказал шотландец. Он быстро на попятный шел, и я по его лицу видела, что он и сам это заметил, да только понять не может, как это так получилось. Его лицо говорило, что это я должна была бы оправдываться и вилять. – Но он, несомненно, кричал, вы понимаете. И долго – возможно, не один час. И громко.

Раз, мой милый пони... два, мой милый пони... три.

– Вроде бы я вас поняла, – говорю. – Вроде бы вы думаете, что в

колодец он упал случайно, а я слышала, как он кричит, и мимо ушей пропускала. Вы к этому клоните?

По его лицу я видела, что клонил он именно к этому. И еще я видела, как он бесится, что все идет по-другому, чем он ожидал и к чему привык во время этих своих маленьких бесед. На щеках у него появилось по алому пятнышку. Я им обрадовалась, потому что мне надо было его до бешенства довести. С человеком вроде Мак-Олиффа проще сладить, когда он бесится, потому как он был из тех, кто привык сохранять спокойствие, пока другие теряли самообладание.

– Миссис Сент-Джордж, будет очень трудно достигнуть тут какого-нибудь толка, если вы и дальше станете отвечать вопросами на мои вопросы.

– Так вы же ни одного вопроса еще не задали, доктор Мак-Олифф, – говорю я и глаза на него невинные таращу. – Вы сказали мне, что Джо, наверное, кричал... то есть звал на помощь, ну я и спросила...

– Хорошо, хорошо! – говорит он и так брякнул трубку в медную пепельницу Гаррета, что та зазвенела. Глаза у него теперь огнем горели, а на лбу полоска заалела – в один цвет с пятнами на щеках. – Вы слышали, как он звал на помощь, миссис Сент-Джордж?

Раз, мой милый пони... два, мой милый пони...

– Джон, мне кажется, нет никаких оснований так ее терзать, – вмешивается Гаррет, и видно, что ему уж совсем не по себе. Но провалиться мне, если он опять не сбил коротышку! Я чуть не засмеялась вслух. Конечно, засмейся я, ничего хорошего бы для меня из этого не вышло, но все равно я еле удержалась.

Мак-Олифф оборачивается к Гаррету и говорит:

– Вы согласились предоставить допрос мне.

Бедняга Гаррет так откинулся на стуле, что чуть его не опрокинул, и, думается, обругал себя последними словами.

– Ладно, ладно, – бормочет, – ничего страшного...

Мак-Олифф обернулся ко мне и хотел повторить вопрос, только я ему не дала: к тому времени я уже успела бы до десяти сосчитать.

– Нет, – говорю, – не слышала. Так ведь в проливе люди начали сигналить и орать, как только солнце на ущерб пошло.

Он выждал, не скажу ли я еще чего – такой у него приемчик был: молчать, чтоб человек сам себя в ловушку загнал, – и тишина между нами прямо зазвенела. Я руки на сумочке держу – пусть звенит. Он на меня смотрит, я на него.

«Ты у меня заговоришь, баба! – твердили его глаза. – Ты мне скажешь

все, что я хочу услышать... и два раза, если я захочу!»

А мои глаза отвечают: «Фигушки, дружок. Можешь сидеть и сверлить меня своими голубыми гляделками, пока в аду на коньках кататься не начнут, но ни единого слова от меня не дождешься, пока сам рот не раскроешь и не спросишь».

Вот так мы почти целую чертову минуту вели поединок на глазах вроде как, и под конец я начала слабеть, меня все больше тянуло сказать ему что-нибудь, пусть хоть: «Разве мамочка вас не учила, что пялиться на людей неприлично?» Но тут Гаррет заговорил – а вернее, его живот. Просто выпалил длинным таким пу-у-уууу...

Мак-Олифф поглядел на него, весь скривившись, а Гаррет вытащил перочинный ножичек и принялся выскребать грязь из-под ногтей. Мак-Олифф вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака (шерстяного – это в июле-то!), заглянул в нее, а потом убрал назад в карман.

– Он пытался вылезти, – наконец сказал он, будто сообщил, что у него деловое свидание.

А мне будто кто-то вилку вогнал пониже спины, где меня Джо полешком огрел, но я и виду не подала.

– Да ну? – говорю.

– Именно, – говорит он. – Ствол колодца выложен камнями (только вместо «а» он, Энди, «о» произнес, у них ведь все «о» да «о»), и на нескольких мы нашли кровавые отпечатки ладоней. Насколько можно судить, он поднялся на ноги и начал медленно взбираться вверх, перехватывая руки. Поистине геркулесовские усилия вопреки боли, какой я и вообразить не могу.

– Мне тяжело слышать, – говорю, – что он мучился. – Голос у меня оставался спокойным (вроде бы), но чувствую, подмышки у меня вспотели, и, помнится, я испугалась, что пот у меня на лбу выступит или в ямках у висков, и он увидит. – Бедный Джо!

– Вот именно, – говорит Мак-Олифф, а его маячные глаза опять сверлят и вспыхивают. – Бедный... Джо. Я полагаю, ему удалось бы вылезть, хотя он бы вскоре умер. Но да, я уверен, что он мог бы выбраться из колодца. Однако нечто ему помешало.

– Что помешало? – спрашиваю.

– У него был проломлен череп, – сказал Мак-Олифф. Глаза у него горели по-прежнему, но голос стал ласковым, как кошачье мурлыканье. – Между его ногами мы обнаружили большой камень. Он был залит кровью вашего мужа, миссис Сент-Джордж. И в этой крови мы обнаружили

несколько фарфоровых осколочков. Знаете, какое объяснение я им нашел?

Раз... два... три...

– Вроде бы этот камень разбил ему не только голову, а еще и вставную челюсть, – говорю. – Грустно это. Джо она очень по вкусу была, и даже не представляю, как Люсьен Мерсье без нее придаст ему пристойный вид для похорон.

Когда я это сказала, губы Мак-Олиффа расползлись, и я хорошо разглядела его зубы. Обе челюсти свои. Он, думается, хотел изобразить улыбку, только не вышло. Совсем не вышло.

– Да, – говорит и показывает мне оба ряда ровненьких, аккуратных зубов до самых десен. – Да, я тоже пришел к такому выводу. Это осколки его нижней вставной челюсти. Так вот, миссис Сент-Джордж, нет ли у вас объяснения, каким образом этот камень мог поразить лицо и голову вашего мужа в тот момент, когда он почти выбрался из колодца?

– Нету, – говорю. – А у вас?

– Есть, – отвечает. – Подозреваю, что кто-то вывернул этот камень из земли и бесчеловечно и преднамеренно обрушил его на откиннутое молящее лицо вашего мужа.

После этого никто ничего не сказал. Хотя мне-то, Бог свидетель, хотелось вскочить и крикнуть: «Это не я. Может, кто-то это и сделал, но только не я!» Но не могла: опять я была в ежевичной чащобе, только на этот раз чертовых колодцев в ней пряталось не сосчитать.

Но я молчала и только смотрела на него. И чувствовала, как меня опять пот прошибает, а руки так и сжимаются. Но тогда бы ногти побелели... и он бы заметил. Мак-Олифф создан был замечать такие вещи. Еще была бы щелочка, чтоб упереться в нее этими его маячными глазами. Я попробовала подумать о Вере, о том, как бы она на него поглядела – как на кусок собачьего дерьма на туфле, – но только это вряд ли бы помогло: уж слишком его глазенапы в меня впились. Прежде она словно была тут рядом со мной, а теперь вот никого в комнате не было – только я и этот аккуратненький шотландский доктор, который наверняка воображал себя эдаким частным сыщиком из журнальных рассказов (позже я узнала, что на побережье его заключения уже отправили в тюрьму больше десятка людей), и меня все больше тянуло открыть рот и брякнуть что-нибудь. А самое главное, Энди, я понятия не имела, о чем. И только слушала, как часы на столе Гаррета тикают – гулко так.

И я сказала бы что-то, но тут заговорил человек, про которого я и позабыла вовсе. Гаррет Тибодо. Таким быстрым, тревожным голосом, что мне ясно стало: он тоже больше не мог терпеть этой тишины. Подумал,

наверное, что она так и будет тянуться, пока кто-нибудь не завизжит, чтоб найти облегчение.

– Послушайте, Джон, – говорит он. – По-моему, мы согласились, что Джо, если он ухватился за этот камень и повис на нем всей тяжестью, сам мог его выворотить и...

– Да прикуси же язык! – заорал на него Мак-Олифф пронзительным таким побитым голосом, а мне сразу полегчало. Минута эта позади осталась. Я знала, и, по-моему, коротышка шотландец тоже знал, что теперь конец. Будто мы с ним сидели вместе в темной комнате и он щекотал мне лицо вроде бритвенным лезвием... а тут неуклюжий старый полицейский Тибодо споткнулся, ударился о подоконник, и – раз! – вверх со стуком взлетела штора, комнату осветило солнце, и я увидела, что лицо-то мне перышко щекочет.

Гаррет пробурчал что-то, по какому праву Мак-Олифф на него орет, но доктор на него никакого внимания не обратил. Обернулся ко мне и сказал:

– Ну так как же, миссис Сент-Джордж? – жестким таким голосом, будто загнал меня в угол, да только мы уже оба знали, что это не так.

Ему оставалось надеяться, что я допущу какую-нибудь промашку... Но мне-то надо было о трех детях думать, а когда есть у тебя дети, обучаешься осторожности.

– Я вам сказала все, что знаю, – говорю. – Он напился, пока мы дожидались затмения. Я сделала ему бутерброд – думала, может, он протрезвеет немножко, да ничего не вышло. Он все ругался, потом схватил меня за горло, стукнул раза два, ну я и ушла на Русский луг. А когда вернулась, его не было. Я подумала, что он отправился куда-то с одним из своих дружков, а он уже в колодце лежал. Думается, пошел к шоссе напрямик. Или даже меня искал, чтоб извиниться. Вот этого я никогда не узнаю... да, может, и к лучшему. – Тут я опять в него вперилась. – Вам бы самому такого немножко хлебнуть, доктор Мак-Олифф.

– Обойдемся без ваших советов, сударыня, – говорит Мак-Олифф, а пятна у него на щеках еще ярче пылают. – Вы рады, что он погиб? Отвечайте!

– Какого черта, – говорю, – это имеет к тому, что с ним случилось? Господи Иисусе, что же вы за человек!

Он ничего не ответил, только взял трубку в руку – а она немножечко дрожит – и давай ее опять раскуривать. Больше он вопросов не задавал – последний вопрос в этот день мне задал Гаррет Тибодо. Доктор Мак-Олифф про это не спросил, потому как важности тут никакой не видел. А вот для Гаррета это важно было, а для меня так еще важнее, потому как для

меня, когда я выйду из городского управления, ничего кончиться не могло, а в некоторых смыслах должно было только начаться. Этот последний вопрос и мой на него ответ очень даже важны были, потому как одно дело – суд и совсем другое, о чем женщины через заборы переговариваются, пока белье вешают, или мужчины в лодках толкуют, пока перекусывают в море, привалившись к рубке. В тюрьму тебя всякое такое не упрячет, а вот в глазах города вздернет на виселицу.

– Почему, во имя всего святого, ты ему виски купила? – проблеял Гаррет. – Что на тебя нашло, Долорес?

– Думала, он меня не тронет, если у него будет что выпить, – сказала я. – Думала, посидим мирно, будем затмение наблюдать и он ко мне не привяжется.

Я не заплакала, то есть по-настоящему, но почувствовала, что по щеке у меня слеза ползет. Думается мне, вот по этой причине я и смогла прожить на Литл-Толле еще тридцать лет – из-за одной-единственной этой слезы. Не будь ее, они бы все-таки выжили меня своими шепотками да намеками да тыча в меня исподтишка – под конец выжили бы. Меня так просто не возьмешь, но у кого же сил хватит тридцать лет выносить сплетни и записочки вроде: «Тебе убийство с рук сошло»... Я таких несколько штук получила и даже очень хорошо знаю, кто их посылал, ну да это к делу не относится – теперь-то чего в этом копать, а тогда к началу школьных занятий осенью я их получать перестала. Вот и выходит, что всей остальной своей жизнью и тем, что сейчас вот с вами говорю, обязана я этой единственной слезе... и тому, что Гаррет слух пустил, что не такая уж я бессердечная и по Джо плакала. И я ж не притворялась, вы не думайте. Просто мне горько стало, что Джо мучился, как коротышка шотландец описывал. Что б он там ни делал, как бы я его ни ненавидела за его приставания к Селене, я ж не хотела, чтоб он мучился. Я думала, он сразу умрет, Энди... Богом клянусь, я думала, он в колодце сразу умрет.

Бедняга Гаррет Тибодо покраснел, как запретительный знак. Вывалил бумажные салфетки из ящичка на столе и сунул мне, кося в сторону. Наверное, думал, что раз я слезу пустила, так сейчас в голос разревусь, и извинился, что «подверг меня такому тягостному допросу». Об заклад побьюсь, что это были самые важные слова, какие он только знал.

Мак-Олифф на это кхекнул, буркнул что-то о том, что придет в суд послушать, как я даю показания, и ушел, вернее будет – выскочил и дверью стукнул так, что стекла задребезжали. Гаррет дал ему время убраться подальше, а потом проводил меня до двери – поддерживал под локоть, но все еще на меня не глядел (ну курам на смех) и все время что-то бормотал.

О чем, я не разобрала, но думается, Гаррет так извинялся. Сердце у него доброе было, и он просто видеть не мог, что кому-то скверно, этого у него не отнять. И у Литл-Толла не отнимешь, что такой человек там мог занимать пост городского полицейского, а когда наконец ушел в отставку, так в его честь банкет устроили и, стоя, ему хлопали. Где б еще такое было бы возможно? Я вам вот что скажу: место, где человек с добрым сердцем может быть блюстителем закона, это место, где не так уж плохо жизнь прожить. И даже очень. Только в жизни я не была так рада услышать, что за мной дверь закрылась, как в тот день, когда Гаррет проводил меня до нее.

Ну это позади осталось, а заседание следственного суда на другой день по сравнению пустяком было. Мак-Олифф задавал мне много тех же вопросов, и нелегких, но на меня они больше не действовали, и мы оба это знали. Единственная моя слеза, конечно, свое дело сделала, но вопросы Мак-Олиффа – а еще то, что все видели, до чего он на меня зол, – очень содействовали сплетням, которые с тех пор так на острове и не затихали. Ну да все равно бы разговоры начались, ведь верно?

Вердикт был: смерть вследствие несчастного случая. Мак-Олиффу это не понравилось, и под конец он читал свои заключения совсем мертвым голосом, ни разу не подняв глаз, но были они официальными: Джо упал в колодец пьяный, вероятно, довольно долго звал на помощь, но безответно, потом попробовал сам вылезти из колодца. Добрался почти до самого верха и тут ухватился за ненадежный камень, который сорвался и ударил его по голове, проломив череп (и раздробив искусственную челюсть), так что он опять упал на дно, где и умер.

Главнее всего было то, что они – я только позднее сообразила – так и не нашли причины, зачем бы я это сделала. Конечно, люди на острове (и, думается, доктор Мак-Олифф) про себя считали, что я от его побоев хотела избавиться, но одной такой причины маловато было. О том, что у меня были причины и посильнее, знали только Селена да мистер Пийз, но никто, даже умник Мак-Олифф, не догадался допросить мистера Пийза. А сам он по своей воле не явился. Не то бы всплыл наш разговорчик в «Веселом буйке» и нажил бы он неприятности у себя в банке. Я ж таки уговорила его нарушить правила.

Ну а Селена... думается, Селена судила меня своим судом. Иногда я ловила на себе ее глаза – темные, шквалистые – и будто слышала, как она спрашивает: «Ты с ним что-нибудь сделала? Сделала, мама? И вина моя? И платить должна я?»

Думаю, она-таки заплатила, вот что самое скверное. Маленькая девочка с острова, которая никуда из Мэна и не уезжала, пока не

отправилась в Бостон на соревнования по плаванию – ей тогда уже восемнадцать было, – сделала в Нью-Йорке блестящую карьеру – о ней два года назад даже статью поместили в «Нью-Йорк таймс», знаете? Печатается во всех этих журналах... и находит время писать мне раз в неделю. Только письма эти вроде как исполнение долга, и звонки ее два раза в месяц – тоже. Думается, звонками этими и бодрыми письмецами она откупается от своего сердца, чтоб оно помалкивало о том, как она сюда никогда не ездит, как все связи со мной оборвала. Да, она сполна заплатила, и самая безвинная из всех, думается, заплатила больше всех... и по-прежнему платит.

Ей сорок четыре, замуж так и не вышла, худа как щепка (я по снимкам вижу, какие она мне иногда присылает), и, по-моему, она попивает – я не раз это в голосе у нее слышала, когда она звонит. Мне вот в голову приходит, что, может, не приезжает она сюда еще и по той причине, что не хочет, чтоб я видела, как она пьет на манер отца. А может, боится сказать лишнее, когда выпьет, а я рядом окажусь. Боится того, что вдруг да и решит спросить.

Да не важно, все это теперь дело прошлое. Я не попала, вот что главное. Имейся страховка да не промолчи Пийз, еще неизвестно, чем бы кончилось. Конечно, лакомая страховка была бы хуже всего. Меньше всего мне требовалось, чтоб какой-нибудь въедливый страховой инспектор присоединился к въедливому шотландскому коротышке, который и так бесился при мысли, что его обставила невежественная баба с маленького острова. Да будь их двое, думается, они бы до меня добрались.

Ну и что произошло? Наверное, то, что, по-моему, всегда происходит в тех случаях, когда убийство остается нераскрытым. Жизнь продолжалась, только и всего. Никто в последнюю минуту не явился с неопровержимыми уликами, как в кино. Я больше никого не пробовала убивать, и Бог не поразил меня молнией. Может, Он решил, что сжечь меня молнией за такого, как Джо Сент-Джордж, значит, только попусту электричество расходовать.

Жизнь продолжалась, и все. Я вернулась в «Сосны» к Вере. Селена, когда вернулась осенью в школу, опять стала бывать у прежних подружек, и я иногда слышала, как она смеется, болтая по телефону. Когда мальчики поняли по-настоящему, что случилось, Малыш Пит очень расстраивался, да и Джо Младший тоже, я даже от него не ожидала. Похудел, и его кошмары мучили, но к следующему лету вроде бы совсем оправился. Единственное новое, что в шестьдесят третьем еще произошло, – я позвала Сета Рида, и он зацементировал колодец сверху.

Через шесть месяцев после его смерти все его имущество по закону отошло ко мне. Я никуда и не ходила, а просто мне прислали бумагу, в которой говорилось, что оно мое и я могу продать его, променять или в морскую пучину выбросить. Когда я осмотрела все, что он оставил, так подумала, что третье, пожалуй, самым правильным будет. Однако тут мне одна удивительная вещь открылась: коли твой муж умрет скоропостижной смертью, очень даже хорошо, если все его дружки были идиотами, вот как дружки Джо. Старый коротковолновый приемник, с которым он десять лет возился, я продала Норрису Пинету за двадцать пять долларов, а три драндулета, ржавевшие на заднем дворе, – Томми Андерсону. Этот дурень просто ухватился за них, а я на вырученные деньги купила «шевроле» пятьдесят девятого года выпуска – у него клапана постукивали, но ездил он хорошо. Еще сберегательную книжку Джо я на себя переписала и снова открыла детские счета для оплаты колледжа.

Ах да – еще одно. С января шестьдесят четвертого я стала снова своей девичьей фамилией пользоваться. Не трубила об этом на всех перекрестках, но, черт подери, я не собиралась так всю жизнь и таскать на себе «Сент-Джордж», точно собака жестянку, которую ей к хвосту привязали. Пожалуй, можно сказать, что я обрезала веревки с жестянкой... только от него я так легко не избавилась, как от его фамилии, можете мне поверить.

Да я и не ждала. Мне сейчас шестьдесят пять, и из этих лет я чуть не пятьдесят знала, что жизнь человеческая почти вся состоит из того, чтоб делать выбор да уплачивать по счетам. Выбор иногда бывает поганей некуда, но это еще не дает человеку права увиливать – особенно когда надо для других сделать то, чего сами они сделать не могут. Ну тогда делаешь выбор получше, насколько можно, а потом платишь цену. Для меня ценой были ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшного сна – или когда вовсе заснуть не могла. И еще – звук, который раздался, когда камень разбил ему череп и вставную челюсть. Точно фарфоровая тарелка о кирпич ударилась. Я его тридцать лет слышу. Иногда он меня будит, а иногда он мне заснуть не дает, а то я его и среди белого дня слышу. Крыльцо дома подметаю, или у Веры серебро чищу, или сижу перед телевизором, обедаю и сериал смотрю... и вдруг как услышу его. Звук этот. Или глухой стук, когда он о дно ударился. Или голос его из колодца: «До-лоррр-ииссс...»

По-моему, звуки, которые я вот так слышу, – это почти то же, что видела Вера, когда кричала про провода в углу или мусорных кроликов под кроватью. Бывали случаи – особенно как она совсем сдавать стала, – когда я забиралась к ней в постель, и обнимала ее, и думала про звук от камня, и

закрывала глаза и видела – фарфоровая тарелка ударяется о кирпич и разлетается на мелкие кусочки. Чуть увижу это, обниму ее, будто сестру, будто она – это я сама. Лежим в одной кровати, каждая со своим страхом, да и задремлем вместе – я до нее мусорных кроликов не допускаю, а она звук бьющейся тарелки мне услышать не дает. А иногда, засыпая, я думала: «Вот, значит, как. Вот, значит, как ты платишь за то, что стерва. И без толку повторять, будто не была бы ты стервой, так не платила бы, потому как мир и жизнь иногда делают тебя стервой, не спрашиваясь. Когда снаружи жуть и темнота, а внутри только ты, чтоб свет зажечь и оберегать его, то приходится быть стервой. Никуда не денешься. Но зато платишь! Как платишь!»

Энди, как насчет еще глоточка из твоей бутылочки? Я ни слова никому не скажу.

Спасибо. Спасибо и тебе, Нэнси Баннистер, что терпишь такую болтливую старуху вроде меня. И как у тебя пальцы не отвалились!

Еще держатся, говоришь? Вот и хорошо. И потерпи еще немножко. Я знаю, что кружным путем к делу подбираюсь, но, думается, наконец я добралась до того, про что вам по-настоящему услышать хочется. И хорошо. Час-то поздний, и я устала. Я всю свою жизнь работала, а не помню, чтоб хоть раз уставала, как сейчас.

Вчера утром я белье вешала – будто шесть лет прошло, а было-то вчера! – и у Веры ясный день выдался. Вот почему все так неожиданно получилось и почему я совсем растерялась. Ну тут и другая причина нашлась бы. В ясные дни она иногда вела себя как последняя стерва, но тут в первый и в последний раз она совсем рехнулась.

Значит, я в боковом дворике белье вешаю, а она наверху в кресле следит за мной, как ей нравилось. Ну и кричит: «Шесть защипок, Долорес! Шесть защипок на каждую простыню! И не вздумай четыремья обойтись, я все вижу!»

– Да, – говорю. – Знаю, и тебе только одного не хватает: чтоб сейчас мороз ударил да заштормило.

– Что-что? – кричит она. – Что ты сказала, Долорес Клейборн?

– Сказала, что кто-то свой огород унавоживает, – отвечаю, – потому как уж очень завоняло.

– Ты что-то много себе позволяешь, Долорес! – кричит она надтреснутым, дрожащим своим голосом.

Ну совсем так, как в дни, когда к ней на чердак вдруг солнышко заглянет. Я понимала, что попозже она может опять за свои штучки приняться, но это меня не заботило – в ту минуту я даже рада была

услышать, что она говорит, ну совсем нормально. Правду сказать, будто все прежним стало. Ведь последние три-четыре месяца она бревном была, вот и приятно было, что вернулась прежняя Вера, то есть настолько, насколько она вообще могла вернуться, понимаете?

– Вот уж нет, Вера! – кричу ей в ответ. – Не то б я себе позволила давным-давно бросить работать у вас.

Я думала, она еще чего-нибудь завопит, только нет. Ну я все развешиваю ее простыни, да ее пеленки, да ее полотенца и все прочее. А потом, хоть в корзине еще хватало, я вдруг остановилась. Мне скверно стало. Почему да с чего – не знаю, скверно, и все тут. И странная такая мысль в голове: «У этой девочки беда... У той, что я в день затмения видела, у той, что меня видела. Она теперь выросла, она ж почти Селене ровесница, но беда у нее страшная».

Я обернулась и посмотрела вверх – так и думала, что сейчас увижу, какой эта девочка в красно-желтом платянце с алой помадой на губах теперь стала. Но я никого не увидела, а этого быть не могло. Потому не могло, что там же Вера должна была сидеть, через подоконник перевешиваться – проверять, сколько защипок на простыне. Но ее там не было, и я понять не могла, как же так: я ж сама ее в кресло посадила, а когда поставила у окна по ее вкусу, сразу тормоз закрепила.

И тут слышу ее крик:

– До-лоррррр-ииссс!

Меня, Энди, прямо мороз по коже пробрал! Будто Джо вернулся. Я прямо к месту приросла. Тут она опять закричала, и я разобралась, что это она, а не он.

– До-лорррр-ииссс! Мусорные кролики! Со всех сторон! О Господи! О Господи! До-лорррр-ииссс, помощи! Помогите мне!

Я повернулась, чтоб бежать в дом, споткнулась о чертову корзину и запуталась в повешенных простынях. Никак выпутаться не могу, прямо будто у них руки выросли, чтоб задушить меня или просто никуда не пускать. Я барахтаюсь в них, а Вера все кричит, и вспоминается мне тот сон – голова из пыли с длинными пылевыми зубами. Только теперь у нее лицо Джо и глаза темные, пустые, будто кто-то вогнал два куска угля в клуб пыли и они в нем повисли.

– Долорес... побыстрее, да побыстрее же! Побыстрее! Мусорные кролики! МУСОРНЫЕ КРОЛИКИ СО ВСЕХ СТОРОН!

А потом она просто визжать стала. Страшно это. Даже вообразить невозможно, чтоб жирная старая стерва вроде Веры Донован могла визжать так громко. Прямо пожар, наводнение и конец света – все разом.

Я из простынь выпуталась, и тут у меня бретелька лопнула, прямо как в день затмения, когда Джо меня чуть не убил, прежде чем я от него вырвалась. Вы знаете, есть такое чувство, когда кажется тебе, будто ты в этом месте уже была, будто знаешь, что люди скажут до того, как они рот раскроют? Вот это чувство на меня и накатило, да так сильно, что чудилось, будто вокруг меня призраки собрались и тычут в меня пальцами и я почти что эти пальцы вижу.

И знаете еще что? Призраки эти были словно из пыли.

Вбежала я в кухню, кинулась вверх по черной лестнице, как могла быстрее. А она все визжит, визжит, визжит... Комбинация сползает, и на площадке я оглянулась – вот сейчас увижу, как за мной Джо карабкается и сейчас комбинацию схватит.

Тут я опять вперед посмотрела и увидела Веру. Она уже три четверти коридора прошла к парадной лестнице – бредет спиной ко мне и визжит, визжит. На ночной рубашке внизу большое бурое пятно – обложилась значит. Но только на этот раз не из подлости или стервозности, как прежде, а от страха, ледяного душного страха.

Кресло поперек двери ее спальни застряло. Значит, она его с тормоза сняла, когда увидела то, что так ее перепугало. Прежде, когда на нее ужас накатывал, она могла только сесть или лечь, где была, да на помощь звать, и вам много народу скажет, что ходить сама она вовсе не могла. А вот вчера смогла. Богом клянусь, смогла. Отпустила тормоз кресла, повернула его, проехала через комнату, а когда оно в двери застряло, сумела из него выбраться и побрела по коридору.

Я стою там как каменная, смотрю, как ее шатает, и думаю, что она такое ужасное увидела, чтоб все это проделать и вот идти, хотя ноги ей давно служить отказались, – что же это такое, для чего у нее только одно название нашлось: мусорные кролики.

И вижу, куда она бредет – прямо к лестнице.

– Вера! – кричу ей. – Вера, хватит глупостей! Ты же свалишься! Стой!

Тут я с места сорвалась и побежала со всей мочи. И опять чувствую, что все это второй раз случается, только теперь я Джо и бегу, чтоб схватить и вцепиться.

Не знаю, услышала она меня или нет, а может, бедным ее раскисшим мозгам почудилось, что я вовсе впереди нее. Твердо только одно знаю – она опять закричала:

– Долорес, помоги! Помоги мне, Долорес! Мусорные кролики! – А сама даже чуть быстрее пошла.

А коридор-то уже весь почти позади! Я пробегаю мимо ее спальни и

как стукнусь щиколоткой о подножку кресла – вот видишь синяк, Энди? Бегу что есть мочи, кричу: «Стой, Вера, стой!» – и уже хрипеть начинаю.

А она площадку перешла и занесла ноги в пустоту. Спасти я ее уже не смогла бы, а могла только свалиться вместе с ней, да только в такую секунду некогда думать или взвешивать. Я кинулась на нее, а ее нога промахнулась, и она вся накренилась вперед. Я тут в последний раз ее лицо увидела. По-моему, она не соображала, что падает, – один ужас на лице, даже глаза выпучены. Панику эту я в них и раньше видела, да только не такую дикую. И можете мне поверить, вовсе она не лестницы перепугалась. Думала она только о том, что позади нее было, не впереди.

Хватаю – и только воздух один, да между указательным и средним пальцем левой руки складочка ее ночной рубашки проскользнула, как шепоток.

– До-лорррр... – вскрикнула она и бряк... Плотный такой, мясистый хлопок. У меня просто кровь леденеет, как вспомню этот звук, такой же, какой из колодца донесся, когда Джо о дно ударился. Вижу, она через голову перекатилась, и что-то треснуло. Резко так, будто сухая палка, когда ее для растопки через колено ломаешь. Из головы у нее кровь брызнула, и тут мне невтерпеж стало. Я повернулась так быстро, что у меня ноги заплелись, и я на колени рухнула. Смотрю по коридору в сторону ее спальни да как закричу! Там Джо был. Секунду-другую я его ясно видела, вот как тебя теперь, Энди. Видела, как его пыльная ухмыляющаяся рожа пялится на меня из-под ее кресла, смотрит сквозь спицы колеса, которое в двери застряло.

Потом оно исчезло, и я увидела, как она стонет и охает.

Я просто поверить не могла, что она после такого падения жива осталась. До сих пор не могу. Конечно, Джо тоже не сразу помер, но он-то был мужчина в расцвете лет, а она – дряблая старуха, у которой уже десяток мелких ударов случился, не говоря уж о трех серьезных. И грязи внизу не было, чтоб мягче упасть, как она под ним хлюпнула.

Не хотелось мне к ней спускаться, не хотелось смотреть, что у нее сломано и откуда кровь льется, но, конечно, ничего другого не оставалось. Кроме меня, в доме никого не было, и, значит, словно на меня перст указывал. Когда я на ноги поднялась (пришлось за столбик перил ухватиться, так колени подгибались), так наступила на край своей комбинации, и вторая бретелька лопнула. Я платье приподняла, чтоб из нее вылезти... ну опять совсем как тогда. Помнится, я даже на ноги поглядела, а нет ли на них царапин и крови от ежевичных колючек. Ну да, конечно, ничего подобного.

Меня в жар бросило. Если вы когда-нибудь по-настоящему болели и температура у вас подскакивала, так вы поймете, как я себя почувствовала: не то чтоб на том свете, но и не на этом. Будто все стеклянным стало: ни за что не ухватиться, все скользкое. Вот что я чувствовала, когда стояла там на верхней площадке, сжимала перила мертвой хваткой и смотрела на нее внизу.

Она лежала на ступеньках пониже середины лестницы. Обе ноги так подогнулись, что их и не видно было. Кровь стекала по одной стороне жалкого старого лица. Когда я, спотыкаясь, добралась до нее – я все еще цеплялась за перила, как могла, – один ее глаз вдруг закатился под лоб. Увидел меня. И взгляд был взглядом зверька, угодившего в капкан.

– Долорес, – прошептала она, – этот подлец все годы с тех пор ко мне подбирался.

– Шшш! – говорю. – Лучше помолчи.

– Нет, подбирался! – говорит она, будто я заспорила. – Сукин сын. Паршивый сукин сын.

– Сейчас я спущусь, – говорю, – и позвоню доктору.

– Нет! – отрезала она, протянула руку и ухватила меня за запястье. – Не надо доктора. Не надо больницы. Мусорные кролики... даже там. Всюду они.

– Вера, все будет хорошо, – говорю и вырвала руку. – Только лежите спокойно, не двигайтесь, и все с вами будет в порядке.

– Долорес Клейборн говорит, что со мной все будет в порядке! – повторяет она тем сухим бешеным голосом, которым пользовалась до того, как у нее начались удары и в голове все перепуталось. – Какое облегчение выслушать мнение специалиста!

Голос этот после стольких лет был ну как пощечина. Я сразу в себя пришла и в первый раз посмотрела ей в лицо по-настоящему, как смотрят на людей, которые знают, что говорят, и слов на ветер не бросают.

– Я уже покойница, – говорит она. – И ты это знаешь не хуже меня. По-моему, я сломала позвоночник.

– Ну, этого вы знать не можете, Вера, – говорю, но охота бежать к телефону у меня пропала. Думается, я знала, к чему дело идет, и если б она вправду попросила о том, про что я догадывалась, так отказать ей разве ж я могла? Я ведь в долгу у нее оставалась с того самого дождливого дня в шестьдесят втором, когда я сидела на ее кровати и выла под передником, а Клейборны всегда долги уплачивали.

Когда она опять заговорила, мысли у нее были такими же ясными, как тридцать лет назад, когда Джо был жив, а дети еще из дома не уехали.

– Я знаю, – говорит, – что остается только одно решить: умру ли я в мое собственное время или в какой-нибудь больнице. Их время слишком долгим будет. А мое время сейчас пришло, Долорес. Нет у меня сил видеть в углах лицо моего мужа, когда я слаба и путаюсь в мыслях. Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают «корвет» из карьера в лунном свете, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны...

– Вера, я не понимаю, что вы такое говорите, – перебила я.

Она подняла руку и махнула на меня раз, другой, властно, как в прежние времена, а потом рука эта брякнулась на ступеньку рядом с ней.

– Я устала писать себе на ноги и забывать, кто ко мне приходил, чуть они уйдут. Я хочу кончить. Ты мне pomoжешь?

Я встала рядом с ней на колени, подняла ее руку, прижала к груди, а сама думаю про звук, с каким камень Джо в лицо ударил, – звук, точно фарфоровая тарелка вдребезги разбилась о кирпичный очаг. Если я снова его услышу, так свихнусь. А ведь звук-то будет точно таким же, потому что звала она меня, совсем как он звал, и звук тот же был, когда она покачнулась, и упала на ступеньки, и разбилась вдребезги, будто хрусталь, который она в гостиной держала и все боялась, как бы горничная его не разбила. И комбинация моя на площадке валялась – белый комок нейлона, и обе бретельки оборваны, совсем как тогда. И если я ее прикончу, звук будет тот же, как тогда, когда я его прикончила, и я это знала. Да, знала, не хуже того, что Восточная дорога упирается в ветхие ступеньки, по которым с Восточного мыса к воде спускались.

Я держала ее руку и думала о том, как мир устроен – как иногда скверные мужчины погибают, а хорошие женщины стервами оборачиваются. Я смотрела, как ее глаза жутко так, беспомощно закатываются, чтоб на меня посмотреть, и видела, как кровь из ссадины под волосами растекается по глубоким морщинам на щеке, точно вода в весенний дождь по бороздам на склоне холма. И я сказала:

– Если ты этого хочешь, Вера, я тебе помогу.

Тут она заплакала. В первый раз я видела, чтоб она плакала, когда в своем уме была.

– Да, – говорит. – Да, я этого хочу. И пусть Бог тебя благословит, Долорес.

– Не терзайся, – говорю и подношу ее морщинистую руку к губам.

– Поторопись, Долорес, – говорит она. – Если правда хочешь мне помочь, так поторопись.

«Пока у нас обеих еще духу хватает», – сказали ее глаза.

Я опять ее руку поцеловала, положила ей на живот и встала. Без труда

– в мои ноги будто сила вернулась. Я спустилась с лестницы и пошла на кухню. Перед тем как белье развешивать, я все приготовила, чтоб хлеб печь. Утром подумала, что день как раз для этого подходящий. А у нее скалка была – тяжелая такая, из серого мрамора с черными прожилками. Она на столе лежала рядом с желтой пластмассовой банкой для муки. Беру я скалку, а сама все еще будто во сне или в жару. И иду через гостиную в холл. Пока я шла через гостиную со всеми ее хорошенькими старинными вещицами, то вспоминала, сколько раз тут я ее пылесосом обманывала и как она со мной посчиталась. Под конец она всегда соображала что к чему и брала верх. А то почему бы я сейчас здесь сидела?

Вышла я из гостиной в холл и вскарабкалась по ступенькам к ней, а скалку за деревянную ручку держу. Когда поднялась туда, где она лежала головой вниз, а ноги под туловище подогнуты, я думала – сразу. Я же знала, что стоит мне помедлить, и я уже не смогу. Ни слова, а прямо встать на одно колено и ударить ее этой мраморной скалкой по голове, как смогу сильнее и быстрее. Может, вид был бы такой, что она голову разбила при падении, а может, и нет, но я собиралась сделать это, а там будь что будет.

На колено я опустилась и тут увидела, что не надо, что она сама справилась, как и все в жизни сама делать старалась. Пока я на кухне скалку брала, а может, пока я через гостиную шла, она просто глаза закрыла да и скончалась.

Села я рядом, скалку на ступеньку положила и взяла ее руку к себе на колени. Бывает такое время в жизни, в котором нету минут, и потому считать их невозможно. Знаю только, что была я там с ней. Не скажу, говорила я что вслух или нет. Но, думается, говорила. Думается, поблагодарила ее, что сама справилась, что не принудила меня, не заставила через все это снова пройти... но, может, я только думала. Помню, я прижала ее ладонь к щеке, а потом опустила ее и поцеловала. Помню, как я на эту ладонь смотрела и думала, какая она розовая и чистенькая. И гладкая, как у ребеночка. Я знала, что надо позвонить, сообщить, что случилось, но я совсем измучена была. Совсем. И легче было сидеть там и держать ее руку.

Потом дверной звонок зазвенел. А не то бы я еще долго так просидела бы. Но вы же знаете, как звонки действуют: что бы там ни было, чувствуешь, что открыть надо. Я встала и спустилась по ступенькам, еле ноги переставляя, будто сразу на десять лет состарилась (да правду сказать, я и чувствовала, что на десять лет старше стала), и за перила до самого низа цеплялась. Помню, мне подумалось, что мир так и остался стеклянным, и мне надо поосторожней быть, чтоб не поскользнуться и не

расшибиться, когда я перила отпущу и пойду к двери.

Это был Сэмми Марчент – форменную свою шляпу почтальона на затылок сдвинул по-дурацки, потому как наверняка думает, что выглядит тогда прямо рок-звездой. В одной руке он обычную почту держал, а в другой – заказной конверт из Нью-Йорка, какие она чуть не каждую неделю получала с отчетами о ее денежных делах. Вел их юрист один, Гринбуш, я вам говорила?

Ах, говорила! Ну, спасибо. Я уж столько вам наболтала, что даже толком не помню, о чем сказала, а о чем – нет.

Иногда в конвертах этих бывали бумаги ей на подпись, и почти всегда Вера способна была расписаться, если я ее за локоть поддерживала, но случалось, что мозги у нее совсем раскисали, и уж тогда я сама ее подпись выводила. Легче легкого, и ни разу потом никаких вопросов из-за этого не вставало. Да и последние три-четыре года у нее самой только загогулина получалась. Так что, если вы меня засадить решили, вот вам и еще одна причина: подделка документов.

Сэмми, когда дверь открылась, уже заказной конверт протягивал, чтоб я за него расписалась, как всегда расписывалась, но тут он посмотрел на меня, глаза выпучил и попятился. Даже, можно сказать, отпрыгнул.

– Долорес! – говорит. – Что это с тобой? Ты же вся в крови!

– Это не моя кровь, – отвечаю, да так спокойно, будто он спросил, какую я программу по телику смотрела. – Это Веры кровь. Она с лестницы упала и разбилась. Насмерть.

– Господи! – сказал он и мимо меня прямо в дом бежит, а сумка его по боку хлопает. Мне и в голову не пришло его останавливать. Ну да вы сами себя спросите, не пусти я его, много ли толку было бы?

Я пошла за ним, медленно-медленно. Стеклоанное чувство это уже почти прошло, но теперь подошвы моих туфель будто свинцом налились. Когда я до лестницы доковыляла, Сэмми уже стоял на коленях рядом с Верой. Сумку он скинул, и она съехала чуть не до нижней ступеньки, рассыпая письма, счета «Бангор гидро» и каталоги Л. Л. Бина.

Я поднялась к нему – ногу на ступеньку поставлю, вторую подтяну, на следующую переступлю и опять подтяну. Никогда я еще такой усталой не была, как вчера утром.

– Да, – говорит он, оборачиваясь ко мне, – она умерла.

– Так я ж тебе сказала, – отвечаю.

– А я думал, она ходить не может, – говорит он. – Ты же мне всегда говорила, Долорес, что она не может ходить.

– Что ж, – отвечаю, – значит, я ошибалась. – Глупо было говорить

такое, когда она рядом на ступеньках лежала, да только что еще сказать-то я могла? По-своему, с Джоном Мак-Олиффом говорить проще было, чем с дурачком Сэмми Марчентом, потому что я многое сделала так, как Мак-Олифф подозревал. В том-то и беда, когда ты ни в чем не виновата – правда тебя более-менее в ловушке держит.

– А это что? – спрашивает он и тычет в скалку. Я ее так на ступеньке и оставила, когда звонок зазвонил.

– А по-твоему что? – сразу спросила я. – Птичья клетка?

– На скалку похоже, – отвечает.

– Вот молодец! – говорю, а голос мой будто издалека доносится: он вроде бы там где-то, а я тут. – Ты, Сэмми, всех еще удивишь, и тебя сразу в колледж примут.

– Ладно, – говорит. – Только чего скалка на лестнице делает? – спрашивает, и тут я поняла, какими глазами он на меня смотрит. Сэмми только двадцать пять, но его отец был тогда среди тех, кто Джо искал, и мне ясно стало, что Льюк Марчент и Сэмми, и всем другим своим дурачкам с детства внушал, что Долорес Клейборн Сент-Джордж своего старика на тот свет спровадила. Вы помните, я сказала, что того, кто не виноват, правда более-менее в ловушке держит. Ну увидела я, как Сэмми на меня смотрит, и сразу решила, что менее побезопасней будет, чем более.

– Я в кухне была, хлеб собиралась печь, когда она упала, – сказала я. И еще: когда ты не виновата, а решаешь соврать, ложь получается необдуманная. Невиновные не тратят часы, придумывая истории, чтоб комар носа не подточил, вроде как я сочиняла, что ушла на Русский луг смотреть затмение и мужа своего увидела только в Погребальном заведении Мерсье. Чуть я про хлеб соврала, как мне ясно стало, что это против меня обернуться может, но если бы ты, Энди, видел этот его взгляд – темный такой, подозрительный, боязливый, ты бы тоже соврал.

Он встал на ноги, хотел было повернуться, вдруг застыл и смотрит на верхнюю площадку. Я проследила его взгляд и увидела свою смятую комбинацию.

– Выходит, она сначала комбинацию сняла, – говорит он и опять на меня глядит, – а уж потом упала... или прыгнула... или что она там еще сделала. Верно, Долорес?

– Нет, – говорю. – Это моя.

– Если ты хлеб пекла на кухне, – говорит он, медленно так, точно тупой ученик, который у доски задачку решает, – так что твое нижнее белье там наверху делает?

А мне в голову ну ничего не приходит. Сэмми на одну ступеньку

спустился, потом на другую, так же медленно, как говорил, а сам за перила держится и глаз с меня не спускает. И тут я поняла, что он от меня пятится, потому как опасается, что я вдруг и его столкну, раз ее столкнула, а уж в этом он не сомневается. Вот тогда мне ясно стало, что скоро буду я сидеть, где сейчас сижу, и рассказывать, что рассказываю. Глаза у него прямо кричали: «Один раз тебе это с рук сошло, Долорес Клейборн, и, может, пусть, поскольку Джо Сент-Джордж был, отец говорит, человеком самым никудышным. Но что тебе эта женщина сделала, кроме как кормила тебя, давала крышу над головой и хорошо тебе платила?» А главное, твердили его глаза, женщина, которая один раз толкнула и сухой из воды вышла, может и второй раз толкнуть, а понадобится ей, так и обязательно толкнет. А если толчка не хватит, так она не задумается докончить дело еще как-нибудь. Мраморной скалкой, например.

– Тебя это не касается, Сэм Марчент, – говорю. – Лучше своим делом займись. А мне надо «скорую» вызвать. Только почту-то подбери, не то кредитные компании устроят тебе веселую жизнь.

– Миссис Донован «скорая» не нужна, – говорит он, а сам глаз от меня не отводит и еще на две ступеньки спускается, – а я пока тут останусь. И не в «скорую», по-моему, звонить надо, а Энди Биссету.

Что я и сделала, как вы знаете. Сэмми Марчент стоял рядом и смотрел, как я звоню. Когда я трубку положила, он подобрал конверты, которые рассыпал (а сам все через плечо поглядывал, не подкрадываюсь ли я к нему со скалкой в руке), а потом встал у лестницы и стоял, точно сторожевой пес, который грабителя изловил. Он молчал, и я молчала. Подумывала, не пройти ли мне через столовую и кухню к черной лестнице забрать комбинацию. Да что толку? Он же ее видел, так? И скалка на ступеньке лежала, так?

Ну, скоро ты, Энди, приехал вместе с Фрэнком, а попозже я поехала в наш новенький красивый полицейский участок и дала показания. Было это вчера днем, так что, думается, подогреть эту похлебку не требуется, верно? Ты знаешь, про комбинацию я ничего не сказала, а когда ты про скалку спросил, ответила, что и сама не понимаю, как она туда попала. Ничего другого я придумать не смогла – разве что пришел бы кто-то да и снял табличку «НЕ РАБОТАЕТ» с моих мозгов.

Подписала я свои показания, села в машину и поехала домой. Так все спокойно и быстро прошло – ну, с показаниями, – что я уж совсем себя убедила, будто беспокоиться мне нечего. В конце-то концов я ж ее не убивала, она ж правда сама упала. Твержу себе это и к тому времени, когда к дому свернула, совсем уж поверила, что все будет хорошо.

Но чувства этого хватило, только чтоб из машины вылезти и до задней двери пройти. К ней записочку приколоты. Листок из блокнота, а на нем жирное пятно, словно блокнот этот какой-то мужчина в брючном кармане держал. «ВТОРОЙ РАЗ ЭТО ТЕБЕ НЕ ПРОЙДЕТ» – вот что на нем было написано. Только и всего. Черт, и этого хватает, как по-вашему?

Я вошла и пооткрывала окна на кухне, чтоб выветрить душный запах. Ненавижу его, а теперь он в доме так и стоит, проветривай не проветривай. И не только потому, что теперь я больше в доме у Веры живу... жила то есть, хотя оно тут тоже причина. Главное, что дом-то мертвый... – такой же мертвый, как Джо и Малыш Пит.

Нет, у домов есть своя жизнь – они ее получают от людей, которые в них живут, я в это по-настоящему верю. Наша одноэтажная лачужка выжила, когда Джо помер и двое старших учиться уехали – Селена в Вассар на полную стипендию (ее доля из денег на колледж, которые мне столько мук стоили, пошла на одежду и учебники), а Джо Младший – совсем по соседству в Университет штата Мэн в Ороно. Дом даже пережил известие, что Малыш Пит погиб от взрыва в сайгонской казарме. Случилось это, когда он только-только туда прибыл – и за два месяца до того, как войне этой конец пришел. Я смотрела, как последние вертолеты поднимаются с крыши посольства, по телевизору в гостиной Веры и плакала, плакала... Могла дать себе волю, не опасаясь, что она скажет, потому как она в Бостон уехала деньги по магазинам тратить.

Жизнь из дома ушла после похорон Малыша Пита, когда все разошлись и мы втроем остались – я, Селена и Джо Младший. Он про политику говорил. Ему как раз достался пост городского управляющего в Мейкьясе – неплохо для парня, у которого в дипломе еще чернила не просохли, и он подумывал через год-два выставить свою кандидатуру в Законодательное собрание штата.

Селена немножко рассказала о курсах, которые преподавала в колледже в Олбени (это было до того, как она в Нью-Йорк переехала и одним только писательством занялась), а потом замолчала. Мы с ней посуду мыли, и вдруг я что-то такое почувствовала. Обернулась и вижу, что она смотрит на меня темным своим взглядом. Я бы могла ее мысли прочесть – то есть вам так сказать, потому что родители мысли детей и правда читают, да только мне этого не требовалось. Я и так знала, о чем она думает. Я знала, что это всегда у нее в мозгу прячется. В ее глазах я увидела тот же вопрос, что и двенадцать лет назад, когда она подошла ко мне в огороде посреди фасоли и огурцов: «Ты с ним что-нибудь сделала?», и «Я виновата?», и «Как долго должна я платить?»

Я подошла к ней, Энди, обняла ее. Она меня тоже обняла, только вся была будто окостеневшая, – и вот тогда-то я и почувствовала, что жизнь уходит из дома. Будто последний вздох умирающего. И по-моему, Селена это тоже почувствовала. А Джо Младший – нет: он печатает фотографию дома на своих листовках во время избирательных кампаний – в знак, что он здешний, и избирателям это нравится, я видела. Но он не почувствовал, когда дом умер, потому как никогда его не любил. Да и с чего бы ему его любить было, Господи помилуй? Для Джо Младшего дом был просто местом, куда он приходил из школы, местом, где отец его ругал и обзывал книжным слюнтяем. Камберленд-Холл, его общежитие в университете, был для Джо Младшего куда более родным, чем дом на Восточной дороге с самых первых дней его жизни.

А вот мне он был родным. И Селене тоже. Думается, моя хорошая девочка еще долго продолжала в нем жить и когда отрясла прах Литл-Толла со своих ног; думается, она жила здесь в своих воспоминаниях... в своем сердце... в своих снах. В своих кошмарах.

Душный этот запах... Если уж он появился, от него не избавиться.

Я села у открытого окна, чтоб пока надышаться через нос свежим морским бризом, потом мне не по себе стало, и я решила запереть двери. С парадной хлопот не было, а вот щеколда на задней никак не поворачивалась, и под конец я заложила туда комбинированной смазки. Ну и повернула, а потом сообразила, в чем было дело – просто заржавела. Я иногда от Веры по пять-шесть дней не уходила. Ну да я даже вспомнить не могла, когда в последний раз дом запирала.

От мыслей этих я совсем ослабла. Пошла в спальню, легла, а голову подушкой накрыла, как в детстве, когда меня в наказание рано спать укладывали. И тут я заплакала, и плакала, и плакала. Никогда б не поверила, что у меня столько слез нашлось. Плакала я из-за Веры, и Селены, и Малыша Пита. Пожалуй, даже из-за Джо. Но больше всего я по себе плакала. Плакала, пока мне нос совсем не заложило и икота началась. Под конец я заснула.

Проснулась – вокруг темно и телефон звонит. Встала и ощупью в гостиную прошла трубку взять. Только сказала «алло», и кто-то – какая-то женщина говорит: «Тебе ее убийство даром не пройдет. Так и заруби у себя на носу. Если закон до тебя не доберется, мы не спустим. Не такая уж ты умная, как воображаешь. Мы здесь рядом с убийцами жить не обязаны, Долорес Клейборн, и не будем, пока еще есть на острове добрые христиане, которые такого не позволят».

У меня в голове такой туман стоял, что мне померещилось, будто я сон

такой вижу. А когда сообразила, что все наяву, она уже трубку повесила. Я было на кухню пошла, думала кофе согреть либо пива взять из холодильника, как телефон опять зазвонил. И опять женщина, только другая. Чуть у нее изо рта всякая мерзость хлынула, я трубку положила. И опять мне плакать захотелось, но я подумала: ну уж нет! А просто выдернула телефонный шнур из розетки и пошла на кухню пиво взять. Только вкус его мне не пришелся, и я почти всю банку в раковину вылила. Думается, немножко шотландского виски я бы выпила, да только после смерти Джо я в доме спиртного не держала.

Налила себе стакан воды, но от ее запаха мне тошно стало – от нее несло, как от монет, которые какой-нибудь мальчишка весь день в потном кулаке зажимал. Запах этот напомнил ту ночь в ежевике – как порыв ветерка пахнул точно так же, и тогда мне вспомнилась девочка с розовой помадой на губах и в красно-желтом платице. И еще я вспомнила, как мне в голову пришло, что у женщины, которой она стала, случилась какая-то беда. И я стала раздумывать, что с ней и где она, а вот есть ли она, про это я не думала, понимаете? Я просто знала, что она была. И есть. Никогда в этом не сомневалась.

Ну не важно. У меня опять мысли блуждают, а язык за ними плетется, будто слепой за поводырем. Я только хотела сказать, что вода из-под кухонного крана пришлась мне не лучше самого отличного изделия мистера Будвейсера, – даже пара ледяных кубиков медный привкус не уничтожила, – и кончилось тем, что я села смотреть дурацкое комическое шоу и запивала его «Гавайским пуншем» – я в холодильнике запас держу для близнецов Джо Младшего. Разогрела замороженный обед, но мне ничего в рот не лезло, и я соскребла его в помойное ведро. Достала еще один «Гавайский пунш» и ушла с ним в гостиную к телевизору. Начали другое шоу показывать, только я никакой разницы не заметила. Может, потому, что ничего толком не слушала.

Я не думала о том, что делать дальше: есть вещи, о которых на ночь лучше не думать, потому как в эти часы на мозг не стоит полагаться, обязательно подведет. В девяти случаях из десяти все, что после заката надумаешь, утром заново передумать придется. Вот я и сидела, а потом, когда кончили передавать местные новости и опять началась развлекательная программа, я снова заснула.

И мне приснился сон. Про меня и про Веру. Только Вера была такой, какой я ее первое время знала, когда Джо еще жив был и все наши дети, и мои, и ее, все еще с нами жили и всегда под ногами путались. Во сне мы с ней посуду прибирали – она мыла, я вытирала. Только были мы не в кухне,

а стояли перед печуркой в моей гостиной. И это странно казалось: Вера-то никогда у меня дома не была – ни разу за всю свою жизнь.

А вот во сне – была. Посуду она мыла в пластмассовом тазике на печурке – не мою щербатую, а свой английский сервиз. Вымоет тарелку и мне протянет, и каждая из моей руки выскользывает и бьется о кирпичи печурки. Вера говорит: «Будь поосторожней, Долорес. Когда что-то случается, а ты небрежничаешь, выходит черт знает что!»

Я обещаю ей быть поосторожнее и стараюсь, но следующая тарелка опять у меня из рук вываливается, и следующая, и следующая.

«Бесполезно! – под конец сказала Вера. – Посмотри, что ты натворила!»

Я посмотрела вниз, а кирпичи усеяны не черепками, а осколочками вставной челюсти Джо и камня. «Не давайте мне больше тарелок, Вера, – говорю я и плачу. – Видно, мне их перетирать не по силам. Может, я стара стала, только я не хочу все их разбить, это я знаю!»

А она все дает мне их и дает, а я роняю их и роняю, и звук, с каким они бьются о кирпичи, становится все громче да громче, и вот это уже не дребезжание, с каким разбивается фарфор. Я вдруг поняла, что вижу сон, а звуки эти к нему не относятся. Я с таким толчком проснулась, что чуть с кресла на пол не слетела. А тут опять грохот, и тут я поняла, что это такое. Выстрел из дробовика.

Я встала и подошла к окошку. По дороге проехали два пикапа. В кузовах – люди. В первом один, а во втором вроде бы двое. И у всех в руках дробовики, и каждую пару секунд один из них пуляет в небо. Из дула огонь вырывается, а потом – бу-у-ум! По тому, как эти мужчины (я решила, что это были мужчины, но могла и ошибиться) вихлялись, и по тому, как пикапы мотало из стороны в сторону, думается, вся компания была вдрызг пьяна. Да и один пикап я узнала. Что? Нет, я тебе ничего не скажу, Энди, – хватит с меня своих неприятностей. И не хочу никому жизнь портить за стрельбу по пьяной лавочке. Да, может, я и пикапа толком не рассмотрела.

Ну, чуть я увидела, что они только облака дырявят, я окно открыла. Решила, что они развернутся на площадке под нашим холмом. Так и вышло. Один из них чуть не засел в грязи. Ну курам на смех!

Едут вверх по склону, сигналият, гудят, орут во всю мочь. Я ладони ко рту приложила да как закричу:

– Убирайтесь отсюда! Людям спать надо!

Один пикап рванул вбок и чуть не съехал в канаву. Значит, я их хорошо пуганула. Парень, который стоял в кузове (этот пикап мне и казалось, что я узнала, – до этой минуты), так этот парень кувырком перелетел через борт.

Легкие у меня, скажу не хвастая, очень крепкие, и, когда мне надо, я гаркнуть умею.

– Вали с Литл-Толла, убийца сучья! – завопил кто-то из них в ответ, и опять они в воздух пульнули. Только они выпендривались – бахвалились передо мной, какие у них яйца огромные. Я так думаю потому, что больше они разворачиваться не стали, и я услышала, как они грохочут к городу – к этому чертову бару, который в позапрошлом году открыли, сладкий пирожок прозакладываю. Глушители дребезжат, моторы режут – да вы сами знаете, какой тарарам поднимает пьяный, когда за руль пикапа садится.

Ну, настроение у меня чуть исправилось. Страх куда-то подевался, а дерьмовые слезы и вовсе высохли. Злиться я злилась, но не настолько, чтоб соображение потерять и не понять, отчего они все делают то, что делают. А когда бешенство мне начало мозги туманить, я его отогнала, вспомнив про Сэмми Марчента, – какие у него глаза были, когда он на ступеньке на коленях стоял и сначала на скалку посмотрел, потом на меня, – такие темные, будто океан перед линией шквала, как у Селены в тот день в огороде.

Я уже знала, Энди, что мне не миновать сюда прийти, но только, когда эти ребята укатили, я перестала себя морочить, будто я могу выбирать и решать, о чем говорить, а что утаить. Я поняла, что должна честно во всем признаться. Легла опять и спокойно проспала до утра, до четверти десятого. Поздно так я не просыпалась с тех пор, как замуж вышла. Думается, отдыхала перед тем, как проговорить всю чертову ночь.

Чуть встала, уже собралась идти – горькое лекарство надо сразу глотать, – но тут задержка вышла, не то бы я пораньше явилась все это вам рассказывать.

Приняла я ванну, а перед тем, как одеться, вставила телефонный шнур в розетку. Ночь-то кончилась, и в голове у меня мутиться перестало – сон я вижу или не сплю. Если кто-нибудь позвонит, думаю, и начнет меня обзывать, так и у меня пара теплых слов найдется, начиная с «трус поганый» и «мразь безымянная». И правда, я еще чулки не натянула, как он затрезвонил. Беру трубку, готовлюсь выдать ублюдку по первое число, но тут женский голос говорит:

– Алло! Могу я поговорить с миз Долорес Клейборн?

Я сразу сообразила, что звонок междугородный, и не только по легонькому эхо в трубке, какой бывает, когда с материка звонят. Главное, у нас на острове никто женщин «миз» не называет. Ты либо мисс, либо миссис, а вот миз пока через пролив не перебралась, хоть раз в месяц и появляется в аптеке на подставке с журналами.

– Слушаю, – отвечаю.

– Вам звонит Алан Гринбуш, – говорит она.

– Странно, – говорю с ехидством. – По голосу вы вроде бы не Алан Гринбуш.

– Звонят из его конторы, – говорит она, будто я редкую глупость сморозила. – Не вешайте трубку, я сейчас соединю вас с мистером Гринбушем.

Она меня врасплох поймала, и я сперва фамилию не узнала. Помнила, что вроде бы слышала ее, только вот где?

– А касательно чего? – спрашиваю.

Она помолчала, словно бы ей не полагалось давать такие сведения, а потом сказала:

– Если не ошибаюсь, дело касается миссис Веры Донован. Так я вас соединю, миз Клейборн.

Тут до меня дошло – Гринбуш, который ей все эти заказные письма присылал.

– Ладно, – говорю.

– Извините?

– Соединяйте, – говорю.

– Благодарю вас, – отвечает. В трубке щелкнуло, а я стою в одном нижнем белье и жду. Всего несколько секунд прошло, а показалось, что очень долго. Перед тем как он заговорил, мне вдруг представилось, что они поймали меня на том, что я за Веру расписывалась. Я уж и не сомневалась. Вы не замечали, что чуть одно не заладится, так сразу все наперекосяк идет?

Тут слышу в трубке его голос.

– Миз Клейборн? – говорит он.

– Да, это Долорес Клейборн, – отвечаю ему.

– Вчера днем мне позвонил сотрудник полицейского отделения на Литл-Толле и сообщил о кончине Веры Донован, – сказал он. – Час был уже поздний, и потому я решил отложить звонок к вам до утра.

Меня так и подмывало сказать ему, что кое-кто на острове не постеснялся трезвонить ко мне и ночью, но, конечно, я говорить этого не стала.

Он откашлялся, а потом сказал:

– Пять лет назад я получил от миссис Донован письмо с инструкциями сообщить вам некоторые сведения о ее имуществе в течение двадцати четырех часов после ее кончины. – Тут он опять откашлялся. – Хотя я с тех пор часто беседовал с ней по телефону, письмо это было последним,

которое я получил от нее. – Голос у него был очень сухим и осторожным. Такой голос, что его не слышно, когда он тебе что-то говорит.

– Да о чем вы? – спрашиваю. – Бросьте вилять и кхекать. Скажите прямо.

– Рад поставить вас в известность, – говорит он, – что, если не считать небольшой суммы, оставленной Приюту Маленьких Скитальцев Новой Англии, вы по завещанию миссис Донован ее единственная наследница.

У меня язык к небу прилип, а в голове одна мысль: как она разобралась, что я с пылесосом проделывала.

– Позднее сегодня вы получите официальную телеграмму с подтверждением, – говорит он, – но я очень рад, что успел сообщить вам лично до ее прибытия. Миссис Донован очень на этом настаивала.

– Да, – говорю, – настаивать – это она умела.

– Не сомневаюсь, что вы скорбите о кончине миссис Донован, как и все мы, но я хочу поставить вас в известность, что вы будете очень богатой женщиной, и, если в этих обстоятельствах я могу оказать вам какую-либо помощь, я буду счастлив предложить ее вам, как прежде миссис Донован. Разумеется, я буду ставить вас в известность о процессе утверждения завещания, но я, право, не предвижу никаких затруднений или проволочек. Наоборот...

– Тпру-у, приятель! – говорю я, вернее сказать, прохрипела. Прямо как лягушка в пересохшей луже. – Это сколько денег-то?

Конечно, я знала, Энди, что у нее за душой кое-что есть. Хоть последние годы она ничего, кроме ночных фланелевых рубашек, не носила и питалась только кэмпбеллским супом и детскими смесями Гербера, богатой она все равно оставалась. Я же видела дом и машины видела, а иногда заглядывала в бумаги, приходившие заказным письмом, повыше строчки для подписи. В некоторых из них про акции говорилось, и понятно, что коли вы продаете две тысячи акций «Апджона» и покупаете четыре тысячи акций «Миссисипи Велли Лайт энд Пауер», так еще не бредете по прямой дорожке в приют для неимущих стариков.

И спрашивала я не для того, чтоб поднабраться кредитных карточек и начать заказывать то и се по каталогу Сирса – даже и не думайте. Причина у меня была поразумнее. Я же знала, что число тех, кто думает, будто я ее прикончила, будет расти с каждым долларом, какой она мне оставила, и хотела знать, в какое горе это мне обойдется. Думала я, что будет это шестьдесят тысяч или семьдесят... только он сказал, что она какие-то деньги завещала приюту, и я прикинула, что на круг поменьше выйдет.

И еще что-то меня жалило – жалило, как июльский овод, когда он тебе

в шею вопьется. Что-то тут вообще было не так, но вот что, я сообразить не могла. Как не сообразила сразу, кто такой Гринбуш, когда секретарша назвала его фамилию.

Он что-то ответил, но я не разобрала, что-то вроде: «Бо-бу-дабмерно тридцать миллионов долларов».

– Что вы сказали, сэр? – переспросила я его.

– Что после утверждения завещания, вычета гонорара за юридические услуги и еще некоторых мелких вычетов остаток составит примерно тридцать миллионов долларов.

Моя рука, которой я трубку держала, вдруг стала такой, какой бывает утром, когда всю ночь на ней проспичь – внутри онемелой, а по краям будто иголки колются. И по ногам мурашки забегали, и опять словно все вокруг стеклянным стало.

– Прошу прощения, – говорю. И слышу, как мой рот говорит ясно и четко, только к словам-то, которые из него выходят, я будто никакого отношения не имею. Он просто хлопал, будто ставня на ветру. – Слышно не очень хорошо. Мне показалось, будто вы сказали «миллион». – Тут я засмеялась, показывая, что понимаю, какая это глупость, но внутри мне, видно, казалось, что не глупость это вовсе: такого натужного смеха я в жизни не слышала – ях-ях-ях – будто кудахтую.

– Нет, я сказал «миллион», – говорит он. – А вернее, «тридцать миллионов».

И знаете, по-моему, он хихикнул бы, если б я не получала деньги эти через мертвое тело Веры Донован. По-моему, он весь возбужден был – под этим сухим чинным голосом просто чертово возбуждение пряталось. Наверное, чувствовал себя, как Джон Бирсфорд Типтон – ну, тот миллионер, который платил по миллиону долларов за лучшую шутку в старой телевизионной программе. Он, конечно, хотел вести мои дела, – по-моему, деньги для таких, как он, вроде игрушечных электрических поездов, и ему не хотелось, чтоб у него забрали такой чертовски большой набор вроде Вериного, – но, думается, он особое удовольствие получал, слушая, как я еле языком ворочаю.

– Не понимаю, – говорю. И таким слабым голосом, что сама себя еле слышу.

– Мне кажется, я понимаю, что вы сейчас чувствуете, – говорит он. – Сумма очень большая, и, разумеется, к ней нужно привыкнуть.

– Да сколько это на самом-то деле? – спрашиваю я его, и тут уж он хихикнул. Будь он где-нибудь рядом, Энди, я б дала ему хорошего пинка в задницу, право слово.

Он опять повторил «тридцать миллионов», а я все думала, что моя рука вот-вот онемееет и я трубку уроню. И тут на меня паника нахлынула: словно кто-то внутри моей головы стальным канатом размахивал. Думаю: «Тридцать миллионов». А это так – пустые слова. А когда я попыталась их смысл себе представить, то мерещились мне только картинки из комиксов о Скрудже Мак-Даке, которые Джо Младший когда-то Малышу Питу читал – Питу тогда четыре не то пять было. Видела я огромный сводчатый подвал, набитый монетами и бумажками, только среди них не Скрудж Мак-Дак расхаживал в штиблетах на лапах и в кругленьких очках на клюве, а я в своих шлепанцах. Тут эта картинка пропала, и я уже вижу глаза Сэмми Марчента, когда они со скалки на меня переходили и назад на скалку. Они совсем такими были, как у Селены в тот день в огороде – темные, полные вопросов. Потом я подумала о женщине, которая мне звонила и сказала, что на острове есть еще добрые христиане, которые не обязаны жить рядом с убийцей. И я подумала, что скажут эта женщина и ее друзья, когда узнают, что смерть Веры принесла мне тридцать миллионов... Вот тут-то паника на меня и нахлынула. – Ничего у вас не выйдет! – говорю ему прямо как полоумная. – Слышите? Вы меня не заставите их взять!

Тут уж он сказал, что не расслышал, что, наверное, помехи на линии. Да и неудивительно. Когда люди вроде Гринбуша слышат, как кто-то отказывается взять кругленькие тридцать миллионов долларов, конечно, они думают, что телефон испортился. Я уж открыла рот сказать ему еще раз, что придется ему их назад забрать или пусть все до последнего цента пожертвует Приюту Маленьких Скитальцев Новой Англии, и вдруг поняла, что тут не так было. До меня не просто дошло, а будто мне на голову тонну кирпичей опрокинули.

– Дональд и Хельга! – говорю. Ну прямо как участница телевизионной викторины, которая выкрикивает ответ в последнюю секунду добавочного времени.

– Простите? – говорит он осторожненько.

– Да дети же ее! – отвечаю. – Сын и дочка! Эти деньги им должны отойти, а не мне! Они же ее плоть и кровь! А я всего только приходящая экономка, и ничего больше!

А в трубке тишина мертвая, и я уж подумала, что нас разъединили, и совсем даже об этом не пожалела. Сказать вам правду, у меня ноги подкашивались. И тут он говорит странным таким голосом без всякого выражения:

– Вы не знаете.

– Чего я не знаю? – ору. – Я знаю, что у нее есть сын Дональд и дочь

Хельга! Я знаю, что они слишком уж чертовы чистюли, чтоб навещать ее на острове, хотя она всегда для них готовыми комнаты держала, но не такие же они чистюли, думается, чтоб не поделить такие деньги, о каких вы говорили, раз уж она умерла!

– Вы не знаете, – повторяет он, а потом спрашивает, но будто не меня, а самого себя: – Как вы могли не знать, проработав у нее столько лет? Как? Разве Кенепенски не сказал бы вам? – И не дал мне рта раскрыть и сам начал себе на свои чертовы вопросы отвечать. – Конечно, это возможно. Если не считать заметочки на внутренней странице местной газеты на следующий день, она избежала всякой огласки – тридцать лет назад это еще можно было устроить, если вы были готовы заплатить за такую привилегию. Не знаю даже, были ли некрологи. – Он замолчал, а потом сказал, словно человек, который вдруг обнаружил что-то новое... что-то неслыханное о том, с кем был знаком всю свою жизнь. – Она говорила о них словно о живых, так? Все эти годы!

– Что вы такое несете? – заорала я на него. У меня в животе словно лифт опускался, и сразу же разные вещи, мелочи всякие начали у меня в голове подбираться одна к другой. Я и не хотела, да они сами собой складывались. – Конечно, она говорила о них как о живых! Они ведь живы! У него в Аризоне компания по продаже недвижимости – «Голден Вест ассошиэйтес»! А она модельер в Сан-Франциско... «Гейлорд Фейшенс»!

Только вот она все время читала толстые исторические романы в мягких обложках с женщинами в платьях с низким вырезом, целующими мужчин в рубашках с кружевными манишками, а серия этих книг называлась «Голден вест» – так и значилось в золотом кружке в верхнем углу каждой. И тут же мне вспомнилось, что родилась она в Гейлорде, городке в Миссури. Я хотела внушить себе, что ошибаюсь и он называется Гален, или Гейлсберг, или еще как, но я знала, что нет – Гейлорд. Правда, ее дочка могла назвать свою фирму в честь родного города своей матери... так я себе сказала.

– Миссис Клейборн, – говорит Гринбуш тихим таким, встревоженным голосом. – Муж миссис Донован погиб от несчастного случая, когда Дональду было пятнадцать, а Хельге тринадцать...

– Да знаю я, – отвечаю так, словно хочу, чтоб он поверил, что раз я это знаю, то и все остальное тоже.

– ...и затем отношения между миссис Донован и ее детьми стали очень натянутыми.

Я и это знала. И помнила, как люди удивлялись, до чего дети тихими были, когда в шестьдесят первом приехали в День Памяти провести по

обыкновенно лето на острове; а кое-кто добавлял, что их втроем и не видно вовсе, и это особенно странно – ведь мистер Донован погиб только в прошлом году; обычно-то горе людей сближает... хотя, может, у городских это и по-другому. И тут я еще одно вспомнила – то, о чем Джимми Де Витт мне рассказал осенью того года.

– У них, – говорю, – в шестьдесят первом прямо после Четвертого июля в ресторане страшная ссора была. Мальчик с девочкой прямо на следующий день и уехали. Помню красав... то есть Кенопенски увез их на материк в большом моторном катере, который у них тогда был.

– Да, – говорит Гринбуш. – И от Теда Кенопенски я узнал, из-за чего они поссорились. Весной Дональд получил шоферские права, и миссис Донован подарила ему на день рождения машину. Девочка – Хельга – заявила, что тоже хочет машину. Вера – миссис Донован – видимо, пыталась ей объяснить, что она говорит глупости: машина без прав ей ни к чему, а права она до пятнадцати лет получить не может. Хельга возразила, что в Мэриленде, может, и так, но что в Мэне закон другой и права ей дадут в четырнадцать... А ей четырнадцать уже исполнилось. Это верно, миз Клейборн, или просто подростковые фантазии?

– Тогда так и было, – отвечаю. – Но теперь их можно получить только в пятнадцать лет, не раньше. Мистер Гринбуш, а машина, которую она сыну подарила... это был «корвет»?

– Совершенно верно, – говорит он. – Откуда вы знаете, миз Клейборн?

– На фото, наверное, видела, – отвечаю, а сама своего голоса и не слышу. А слышу голос Веры: «Нет у меня сил видеть, как они краном поднимают «корвет» из карьера в лунном свете, – сказала она мне, когда умирала на ступеньках. – Нет сил видеть, как вода течет из открытого окна с пассажирской стороны».

– Меня удивляет, что она сохранила эту фотографию, – говорит Гринбуш. – Дональд и Хельга Донованы погибли в этой машине, понимаете? Случилось это в октябре шестьдесят первого года, почти точно через год после гибели их отца. По-видимому, за рулем сидела девочка.

Он еще что-то говорил, но я его почти не слушала, Энди, а заполняла для себя всякие пробелы, да так быстро, что, думается, я и раньше знала, что их в живых нет... где-то там, в самой глубине, всегда это знала. Гринбуш сказал, что они напились и гнали этот «корвет» быстрее ста миль в час, и тут девочка не вписалась в поворот, и машина слетела в затопленный карьер. Он сказал, что, вероятно, оба они погибли еще прежде, чем машина легла на дно.

И еще он сказал, что это тоже был несчастный случай, но, может, я-то

про несчастные случаи знаю немножко побольше, чем он.

И Вера, может, тоже, и, может, она всегда знала, что поссорились они в то лето не из-за такой дерьмовой причины – получить Хельге права по закону штата Мэн или не получить. Это просто было удобным предлогом, чтоб сцепиться. Когда Мак-Олифф спросил меня, из-за чего мы с Джо поссорились, я ему ответила, что причина, мол, сверху деньги, а снизу выпивка. Верхи ссор между людьми почти всегда совсем не похожи на то, что снизу, знаете ли, и вполне могло быть, что на самом-то деле они в то лето ссорились из-за того, что случилось с Майклом Донованом годом раньше.

Она с красавчиком убила его, Энди, – она ж только что прямо мне все не рассказала. И тоже вышла сухой из воды, но в семьях, бывает, кто-то подмечает всякое, о чем полиция и понятия не имеет. Такие, как Селена, например. Или такие, как Дональд и Хельга Донованы. Я все думаю, какими глазами они глядели на нее в то лето, до того, как устроили эту ссору в ресторане «У порта» и в последний раз уехали с Литл-Толла. Я все вспоминала и вспоминала, какими были их глаза, когда они на нее смотрели, – как у Селены, когда она на меня смотрела? Но нет, не помню. Может, со временем и припомню, только радости мне от этого никакой не будет, понимаете?

Одно я знаю твердо: такому сорвиголове, как Дон Донован, не следовало получать права в шестнадцать – ему бы повзрослеть не помешало бы, – а коли добавить к этому такую бешеную машину, так беды не миновать. У Веры ума хватало это понять, и, верно, она до смерти напугана была. Пусть отца она ненавидела, но сына любила сильнее жизни. Это я знаю. И все-таки подарила ему машину. Хоть она и была кремневой, но сунула эту мину в его карман – и карман Хельги заодно, – когда он еще даже школы не кончил и только-только бриться начал. Думаю, тут вина говорила, Энди. А может, я себе так внушаю, потому как не нравится мне думать, что тут еще был страх подмешан, что пара богатых деток вроде них могла использовать смерть отца, чтоб выцыганить у матери все, что им в голову взбрело. Я, конечно, так не думаю... но ведь возможно, знаете ли... Да, возможно. В мире, где отец способен месяцами затаскивать дочь к себе в постель, по-моему, возможно все.

– Их нет в живых, – сказала я Гринбушу. – Вот что вы мне толкуете.

– Да, – говорит он.

– И в живых их нет больше тридцати лет, – говорю.

– Да, – говорит он опять.

– И все, что она мне про них рассказывала, было вранье.

Он опять прочистил горло – другого такого любителя откашливаться днем с огнем не найти, если судить по его сегодняшнему разговору со мной, – а когда заговорил, то почти по-человечески.

– А что она вам про них рассказывала, миз Клейборн? – спрашивает.

– Тут я подумала, Энди, и сообразила, что она очень много мне рассказывала с лета шестьдесят второго, когда приехала на остров, постарев на десять лет и похудев на двадцать фунтов в сравнении с предыдущим летом. Вспомнила, как она сказала мне, что, может, Дональд и Хельга приедут в августе и чтоб я запасла хлопья по-квакерски, потому как ничего другого на завтрак они есть не станут. Вспомнила, как она приехала в октябре – в ту самую осень, когда Кеннеди и Хрущев решали, не взорвать ли все к чертовой матери, – и сказала, что впредь я буду видеть ее куда чаще. «Надеюсь, что и детей тоже», – сказала она, но было что-то в ее голосе, Энди... и в ее глазах.

И больше всего мне ее глаза вспоминались, пока я стояла там с телефонной трубкой в руке. В течение долгих лет она мне много чего рассказывала про том – о том, где они учатся, чем занимаются, с кем дружат (Дональд, по словам Веры, женился, и у него было двое детей, Хельга вышла замуж и развелась), но тут я поняла, что с шестьдесят второго года, с лета, ее глаза говорили мне только одно, повторяли снова и снова: их больше нет. В могиле они. Да-а... но, может, не совсем, может, они еще немножко жили, пока тощая, некрасивая экономка на острове у побережья Мэна верила, будто они живы.

Тут мои мысли перескочили на лето шестьдесят третьего – на лето, когда я убила Джо. Затмение ее прямо заворожило, но не просто потому, что такое случается раз в жизни. Нетушки. Она влюбилась в него, потому как верила, что оно вернет Дональда и Хельгу в «Сосны». Сколько раз она мне это повторяла! И этот ее взгляд, который знал, что их больше нет, на время исчез весной и летом того года.

Знаете, что я думаю? Я думаю, что с марта или апреля шестьдесят третьего года до середины июля Вера Донован была сумасшедшей. Я думаю, эти несколько месяцев она по-настоящему верила, что они живы. Она стерла из своей памяти картину, как «корвет» поднимают из карьера, и чистым усилием воли поверила, что они живы. Верой возвращала их к жизни? Нет, не так. Возвращала их к жизни затмением.

Она была сумасшедшей и, думается, хотела остаться сумасшедшей – может, так она возвращала их себе, а может, наказывала себя или и возвращала, и наказывала, но под конец в ней оказалось слишком много здравого ума, и у нее ничего не вышло. За неделю, а то и за десять дней до

затмения все это начало ломаться. Это время, когда мы – те, кто работал у нее, – готовились к этому безбожному затмению, я помню, как помню вчерашний день. Весь июнь и начало июля она была в отличном настроении, но к тому времени, когда я отослала моих ребят, все пошло к черту. Как раз тогда Вера начала вести себя, будто черная королева в «Алисе в Стране Чудес», орала на всех, стоило им не так на нее поглядеть, и увольняла прислугу направо и налево. Я думаю, вот тогда-то ее последние усилия вернуть их к жизни кончились ничем. Она поняла тогда, что их нет, и осталась жить с этим. Но все-таки устроила прием, который задумала. Вы можете вообразить, какого мужества это потребовало? Какой чертовой твердости?

И я вспомнила, что она мне сказала – после того, как я ей выдала, когда она выгнала Карен Джолендер. Когда Вера потом подошла ко мне, я думала, она мне расчет даст. А она протянула мне пакет с приборчиками, чтоб затмение наблюдать, и извинилась – то есть для Веры Донован это было извинением. Она сказала, что иногда женщине приходится быть высокомерной стервой. «Иногда, – сказала она мне, – женщина только тем и держится, что она стерва».

Да уж, подумала я. Когда ничего другого не остается, только этим и держишься.

– Миз Клейборн? – говорит мне в самое ухо какой-то голос. И тут я соображаю, что Гринбуш еще на линии, а я и позабыла про него совсем. – Миз Клейборн, вы слушаете?

– Да, – отвечаю. Он ведь спросил меня, что она мне о них рассказывала, ну, я сразу и задумалась о тех печальных временах... Да только как мне было рассказать ему все это – какому-то человеку в Нью-Йорке, который понятия не имеет, как мы живем здесь, на Литл-Толле. И как она жила на Литл-Толле. Сказать по-другому, он много чего знал про апджоновские акции и про «Миссисипи лайт энд пауер», но ни фиги про провода в углу.

Или про мусорных кроликов.

Тут он начинает:

– Я спросил, что она вам говорила...

– Говорила, чтоб постели для них всегда были готовы, а в кладовой – побольше хлопьев по-квакерски, – отвечаю. – Она говорила, что так надо, потому как они могут решить приехать в любую минуту. – И это, Энди, было близко к правде и для Гринбуша в самый раз.

– Да это же поразительно! – сказал он, ну прямо как доктор в дорогой клинике: «Да это же мозговая опухоль!»

Мы еще поговорили, толком уж не помню о чем. По-моему, я ему повторила, что ни единого цента из этих денег мне не надо, и знаю по тому, как он со мной говорил – ласково, по-доброму, вроде бы подбодряя меня, что ты, Энди, когда он с тобой говорил, не выложил ему последние новости, которые тебе Сэмми Марчент, уж конечно, отбарабанил. Тебе и всем на Литл-Толле, кому не лень слушать. Думается, ты решил, что его это не касается – во всяком случае пока.

Помню, я ему сказала, чтоб он все отдал Маленьким Странникам, а он отвечал, что никак не может. Он сказал, что сама я смогу, когда завещание будет утверждено (хотя и последний идиот понял бы, что, по-его, я и не подумаю, когда толком разберусь во всем), но он никак не может.

Под конец я обещала позвонить ему, когда «немножко соберусь с мыслями», как он выразился, а потом повесил трубку. А я еще долго там стояла – пятнадцать минут, не меньше. Мне было... жутко. Чувство такое, будто меня всю деньги облепили, как жуки-липучки, которые мой отец вывешивал летом в нужнике, когда я была маленькой. Мне стало страшно, что они еще крепче ко мне прилипнут, чуть я сделаю шаг, и так меня запеленают, что мне их уже никогда не отодрать.

К тому времени, когда я все-таки отошла от телефона, у меня совсем из головы вылетело, что я собиралась к тебе в участок, Энди. Правду сказать, я и одеться-то чуть не позабыла. Ну потому натянула старые джинсы и свитер, хотя думала платье надеть, и оно уже аккуратненько на кровати лежало. (И сейчас лежит, разве что кто-нибудь вломился в дом и выместил на платье злобу, которую они приберегали для его хозяйки.) Ноги вдела в старые галоши, и ладно.

Я обошла валун между сараем и ежевичником, постояла, поглядела на ежевику, послушала, как ветер стучит шипастыми ветками. А сквозь них белое пятно проглядывает – цемент на колодце. Тут меня дрожь пробрала, точно от сильной простуды или гриппа. Я пошла напрямик через Русский луг, а потом спустилась туда, где дорога кончается на Восточном мысу. Постояла там, чтоб океанский ветер волосы мне растрепал и омыл их, как он всегда делает, а потом по лестнице сошла.

Да не хмурься так, Фрэнк, – и канат у верха, и надпись, что они опасны, там на месте. Просто после всего, что со мной было, мне эта ветхая лестница нипочем была.

Я по всем поворотам до самого низа спустилась, до камней. Там прежде была старая пристань – старики ее пристанью Симмонса называли – сами знаете... но теперь от нее ничего не осталось – только пара-другая свай да два больших чугунных кольца, ввинченных в гранит, оба в чешуе

ржавчины. Ну прямо глазницы в черепе дракона, если б драконы и вправду на земле водились. Сколько раз я с этой пристани удила, Энди, когда девочкой была, и, наверное, думала, что она там до конца времен достоин, ну да море рано или поздно все забирает.

Села я на нижнюю ступеньку и, болтая галошами, просидела там семь часов. Видела, как вода ушла с отливом, и она почти вся назад вернулась, когда я с этим местом распрощалась.

Сперва я старалась о деньгах думать, да не получалось. Может, людям, у кого их всегда столько, это просто, а у меня нет, не выходило. Чуть попробую – и вижу, как Сэмми Марчент смотрит сначала на скалку... а потом на меня. Вот и все, что для меня деньги в те минуты значили, Энди, и все, что они сейчас для меня значат – Сэмми Марчент смотрит на меня снизу вверх темным взглядом и говорит: «А я думал, она ходить не может. Ты же мне всегда говорила, Долорес, что она не может ходить».

Потом я задумалась о Дональде и Хельге. «Ты меня раз провела – тебе стыдно, – говорю неизвестно кому и болтаю ногами над накатывающимися волнами так близко, что на них пена попадала. – Ты меня два раза провела – мне стыдно». Только-то на самом деле и не провела она меня вовсе... ее глаза то есть.

И вспомнилось мне, как я вдруг сообразила – в конце шестидесятых это было, – что ни разу их не видела, ни единого разу с тех пор, как красавчик их на материк увез в тот июльский день в шестьдесят первом. И так это меня расстроило, что я даже нарушила свой зарок никогда про них не упоминать, если только Вера первая не начнет.

– Как дети поживают, Вера? – спросила я ее. Слова сами у меня изо рта выскочили, я даже и не сообразила. – То есть по-настоящему как?

Помню, она в гостиной сидела в кресле у большого окна и вязала, а когда я спросила, она руки опустила и поглядела на меня. Солнце в тот день всю светило, и луч у нее на лице лежал яркой такой, четкой полосой, и такой взгляд у нее был страшный, пока она секунду-другую на меня смотрела, что я чуть не закричала. И только когда чуть успокоилась, поняла, что причиной были ее глаза, глубоко посаженные – два темных кружка в этой яркости. Совсем как его глаза, когда он на меня из колодца смотрел... как два черных камешка или два куска угля, вдавленные в белое тесто. Я будто привидение увидела.

Тут она головой качнула, и гляжу: просто Вера сидит и смотрит на меня, будто накануне хлебнула лишнего. И не в первый раз это было бы.

– Я по-настоящему не знаю, Долорес, – сказала она. – Мы стали чужими.

Вот и все, что она сказала, да больше и не требовалось. Все истории, которые она мне рассказывала про них, – выдуманные истории, теперь-то я знаю, – ничего не значили рядом с этими тремя словами: «Мы стали чужими». И сегодня там, у пристани Симмонса, я все раздумывала и раздумывала над тем, какое это жуткое слово – «чужие». Меня от одного звука дрожь бьет.

Сидела я там и в последний раз ворошила эти старые кости, а потом оставила их и встала со ступеньки, на которой чуть не весь день просидела. Я решила, что мне все равно, чему ты поверишь или кто другой. Все кончено, понимаешь? Для Джо, для Веры, для Майкла Донована, для Дональда и Хельги... и для Долорес Клейборн тоже. Так или иначе, но все мосты между тем временем и этим теперь сожжены. Время ведь тоже пролив, знаете ли, как тот, который разделяет острова и материк, но пересечь его может только один паром – память, а она вроде корабля-призрака – если очень пожелать, чтоб он исчез, так он исчезнет.

Ну да что про это говорить! А только странно, как все обернулось, верно? Помню, что мне в голову пришло, когда я встала и собралась взобраться назад по шатким этим ступенькам, – то же самое, что тогда, когда рука Джо выползла из колодца да и чуть не утянула меня туда к нему: «Рыл яму для врагов своих и упал в яму, которую приготовил». И мне казалось, когда я ухватилась за занозистые перила, чтобы вскарабкаться по всем этим ступенькам вверх (конечно, если они во второй раз мою тяжесть выдержат), мне казалось, что вот наконец пришел этот час, и я всегда знала, что он придет. Просто мне больше времени потребовалось в свою упасть, чем Джо – в его.

И у Веры своя яма была – я еще благодарна должна быть, что мне не пришлось своих детей живыми воображать, как ей... хотя бывает, поговорю я с Селеной по телефону, послушаю, как у нее язык заплетается, и кажется мне, никому из нас нет спасения от боли и горя жизнью наших. Ее я не провела, Энди, и весь стыд на мне.

Ну да я приму, что мне положено, и стисну зубы так, что это за улыбку сойдет, как всегда сходило. Я стараюсь помнить, что из моих троих детей двое живы, что они преуспели куда больше, чем кто-нибудь на Литл-Толле мог вообразить, когда они маленькими были, – и, думается, намного больше, чем им удалось бы, не погибни их никуда не годный отец днем двадцатого июля шестьдесят третьего года. Жизнь ведь не просто либо то, либо это, и коли я забуду радоваться, что моя дочка и один мой сынок живы, когда у Веры оба погибли – и сын, и дочка, – придется мне виниться в грехе неблагодарности, когда предстану я перед престолом Всевышнего.

А этого я не хочу. И без того на моей совести много, а может, и на моей душе. Но послушайте меня, все вы трое, и услышьте, как ничто другое: все, что я сделала, я сделала из любви... любви родной матери к своим детям. Это самая сильная любовь на свете и самая смертоносная. На земле нет другой такой стервы, как мать, которая за своих детей боится.

Я вспомнила мой сон, когда наверх взобралась, и постояла у каната, глядя на море. Сон о том, как Вера все давала мне тарелки, а я их все роняла. Вспомнила звук, когда камень его по лицу ударил, и что тарелки бились с тем же звуком.

Но больше всего я думала о Вере и обо мне – о двух стервах, которые жили на островишке у берегов Мэна, жили почти все время вместе последние эти годы. Я думала, как стервы эти спали в одной кровати, когда старшую страх одолевал, и как они коротали годы в этом большом доме, две стервы, которые кончили тем, что почти все время тратили на то, чтоб пакостить друг дружке. Думала, как она меня надувала и как я ее надувала в ответ, и как счастлива была та, за кем оставался верх. Я думала, какой она становилась, когда на нее лезли мусорные кролики, как она вопила и как дрожала, будто зверушка, которую тварь побольше в угол загнала и сейчас сожрет. Думала, как я залезала к ней под одеяло, и обнимала ее, и чувствовала ее мелкую дрожь – будто кто-то постучал ножом по тонкому хрусталу. И чувствовала ее слезы у себя на горле, и расчесывала щеткой ее редкие сухие волосы, и говорила: «Ш-ш-ш, деточка... ш-ш-ш. Всех мерзких мусорных кроликов я повымела. Не бойся. Я тут, с тобой».

Но вот что я твердо знаю, Энди: от них по-настоящему ведь не избавишься. Никогда. Думаешь, ты от них заперлась, что повымела их всех и нигде больше ни единого мусорного кролика не осталось, и тут они возвращаются, и на них лица – на них всегда лица, и лица эти именно те, которых ты больше не хочешь видеть ни во сне, ни наяву.

И еще я подумала, как она лежала на ступеньках и говорила, что у нее нет больше сил и чтоб я с ней покончила. И пока я стояла на этой ветхой площадке в мокрых галошах, я поняла, почему я пришла на эту лестницу, такую гнилую, что никакие сорванцы не приходят играть на ней после уроков или когда школу прогуляют. У меня тоже силы кончились. Жизнь я прожила, как могла лучше, по своим правилам – никакой работы не чуралась, не увиливала от того, что надо было сделать, каким бы страшным это ни было. Вера правду сказала, что иногда женщина должна быть стервой, чтоб продержаться. Но быть стервой, ох нелегко, пусть весь свет знает, и силы мои кончились. Я хотела от всего избавиться, и тут мне в голову пришло, что, пока не поздно, еще раз по этим ступенькам

спуститься... и что внизу мне вовсе не обязательно останавливаться... то есть если я так решу.

И тут я снова ее голос услышала – голос Веры. Совсем так, как в ту ночь у колодца, не просто у меня в голове, а в ушах. И было это куда более жутко, можете мне поверить. Тогда-то в шестьдесят третьем она хотя бы жива была.

«Что ты выдумываешь, Долорес, – говорит она этим своим высокомерным Целуй-Меня-В-Задницу голосом. – Я заплатила цену побольше твоей, я заплатила такую цену, какой и вообразить невозможно, и все-таки я жила с тем, что сама сделала. И больше того. Когда мне только и остались мусорные кролики да мечты о том, что могло бы быть, я подчинила мечты себе. Мусорные кролики? Ну, может, в конце они меня бы и одолели, но до того я с ними много лет прожила. Ну тебе нужно со своими разделяться, но если ты потеряла тот дух, которого у тебя хватило в тот день, когда ты мне сказала, что уволить эту девчонку было пакостью, тогда давай! Давай спускайся и прыгай, потому что без этого духа, Долорес Клейборн, ты просто еще одна глупая старуха!»

Я попятилась и гляжу по сторонам, но вижу только Восточный мыс, темный и мокрый от брызг, которые несет с собой свежий ветер. И нигде ни души. Я еще там постояла, посмотрела, как тучи бегут по небу, – я люблю на них смотреть, как они плывут в вышине, бесшумные и свободные, – а потом повернулась и пошла домой. По дороге несколько раз останавливалась передохнуть, потому как от такого долгого сидения в сырости на нижней ступеньке у меня спина разболелась страшным образом. Но все-таки добрела. А дома проглотила три таблетки, села в машину и поехала прямо сюда. Вот так.

Нэнси, я вижу, ты чуть не десяток своих кассеточек нагромоздила и твой хитрый крошка-диктофон, наверное, еле дышит. Вот и я тоже, но я сюда пришла все рассказать и рассказала – до последнего чертова слова. И каждое слово правда. А ты, Энди, поступай со мной, как тебе положено. Я свое сделала и с собой помирилась. А думается, только это и важно. Да еще знать точно, кто ты. И я знаю, кто я: Долорес Клейборн без двух месяцев шестидесяти шести лет, зарегистрированная демократка, с рождения проживающая на острове Литл-Толл.

Пожалуй, Нэнси, погоди нажимать на кнопку «стоп» – я еще две вещи скажу. В конце-то концов в мире только стервы выживают.

...Ну а мусорные кролики – фиг вам!

## Альбом для вырезок

*Из элсвортской «Америкен»  
от 6 ноября 1992 года (стр. 1)*

### **Островитянка оправдана**

Долорес Клейборн, жительница острова Литл-Толл и многолетняя компаньонка миссис Веры Донован, также проживавшей на Литл-Толле, вчера на специальном заседании следственного суда в Мейкьясе была признана полностью непричастной к смерти миссис Донован. Суд должен был установить, умерла ли миссис Донован «не своей смертью», то есть вследствие оставления без надлежащей помощи или преступного покушения. Предположения относительно роли, которую мисс Клейборн могла сыграть в кончине своей нанимательницы, были вызваны тем обстоятельством, что миссис Донован, по слухам к моменту своей смерти находившаяся в состоянии старческого маразма, завещала своей компаньонке и домоправительнице практически все свое состояние, которое, по оценкам, полученным из некоторых источников, превышает десять миллионов долларов.

*Из бостонской «Глоуб»  
от 20 ноября 1992 года (стр. 1)*

### **Счастливым день благодарения в Сомервилле неизвестный филантроп жертвует 30 миллионов сиротскому приюту**

Ошеломленные директора Приюта Маленьких Странников Новой Англии объявили на пресс-конференции, спешно созванной сегодня в конце дня, что в этом году для полуторавекового приюта Рождество наступит раньше положенного срока благодаря тридцати миллионам долларов, пожертвованным дарителем, который пожелал остаться неизвестным.

«Нас известил об этом поразительном пожертвовании Алан Гринбуш, известный нью-йоркский адвокат и дипломированный

бухгалтер, – сообщил очень взволнованный Брэндон Джеггер, глава совета директоров П. М. С. Н. А. – Все как будто в полном порядке, однако даритель или дарительница, а вернее будет сказать – ангел-хранитель, тверд в своем намерении остаться неизвестным. Излишне упоминать, что все мы, кто имеет отношение к приюту, вне себя от радости».

Если это многомиллионное пожертвование поступит на счет Маленьких Скитальцев, оно станет крупнейшим даром такого рода в Массачусетсе с 1938 года, когда...

*Из «Уикли тайд»  
14 декабря 1992 года (стр. 16)*

### **Сообщения с Литл-Толла любопытницы Нетти**

Миссис Лотти Мак-Кэндлесс вышла победительницей Рождественской лотереи в Джонспорте на прошлой неделе в пятницу. Приз равен двумстам сорока долларам. Это сколько же рождественских подарков? Любопытница Нетти ужа-а-асно завидует.

Фило, брат Джона Кэрона, приехал из Дерри помочь Джону проконопатить его лодку «Звезда глубин», пока она в сухом доке. Что может быть лучше «капельки братской любви» перед Святым Праздником, а ребятки?

Джолин Обюссон, проживающая со своей внучкой Патрисией, закончила в прошлый четверг собирать головоломку, изображающую гору Сент-Хелен и состоящую из двух тысяч кусочков. Джолин говорит, что свое девяностолетие в будущем году она намерена отпраздновать, собрав головоломку с изображением Сикстинской капеллы, состоящую из трех тысяч кусочков. Так держать, Джолин! Любопытница Нетти и вся редакция «Тайд» болеют за тебя!

Долорес Клейборн придется на этой неделе заняться дополнительными покупками. Она знала, что ее сын Джо – «мистер Демократ» – решил, отдыхая от трудов своих в Огесте, приехать с семьей отпраздновать Рождество на острове. Однако теперь, говорит Долорес, и ее дочь, знаменитая журналистка Селена Сент-Джордж, приедет погостить в первый раз за двадцать лет! По словам Долорес, у нее такое чувство, «будто ее благословили». На вопрос Любопытницы, не думают ли они

обсудить последнюю «проблемную статью» Селены в «Атлантик монтли», Долорес только улыбнулась и ответила: «Думается, у нас найдется много о чем поговорить».

Как Любопытница узнала в травматологическом отделении, Винсент Брэгг, сломавший руку на футбольном поле в октябре...

*Октябрь 1989 – февраль 1992*

---

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

30 мая. – Здесь и далее примеч. пер.

2

Последний четверг ноября.